

Николай Михайлович Карамзин

Повести



*Часть сборника
Бедная Лиза (сборник)*



Николай Карамзин

Повести

«Public Domain»

Карамзин Н. М.

Повести / Н. М. Карамзин — «Public Domain»,

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) – писатель, историк и просветитель, создатель одного из наиболее значительных трудов в российской историографии – «История государства Российского» основоположник русского сентиментализма. В книгу вошли повести «Бедная Лиза», «Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена».

© Карамзин Н. М.

© Public Domain

Содержание

| | |
|--|----|
| НИКОЛАЙ КАРАМЗИН – ПИСАТЕЛЬ, КРИТИК, ИСТОРИК | 5 |
| Автобиография{1} | 39 |
| Повести | 41 |
| БЕДНАЯ ЛИЗА{2} | 42 |
| ОСТРОВ БОРНГОЛЬМ[33] | 50 |
| СИЕРРА-МОРЕНА[37] | 57 |
| Комментарии | |

Николай Михайлович Карамзин

Бедная Лиза

НИКОЛАЙ КАРАМЗИН – ПИСАТЕЛЬ, КРИТИК, ИСТОРИК

«Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России» – это окончательное, твердо и решительно высказанное мнение Пушкина. Оно сложилось после многолетних жарких споров и полемических сражений по поводу новых произведений Карамзина (главным образом «Истории государства Российского», тома которой выходили с 1818 г.), художественной прозы и публицистики 1790–1800 гг. В этих сражениях участвовал и Пушкин, выступая с разных позиций, – в пору юности резко критиковал Карамзина, а в тридцатые годы серьезно и настойчиво его защищал.

Карамзин умер шестидесяти лет. Из них почти сорок отдано служению родной литературе. Начинал он свою деятельность в канун Великой французской революции 1789 г., а закончил – в эпоху восстания декабристов. Время и события накладывали свою печать на убеждения Карамзина, определяя его общественную и литературную позицию, его успехи и заблуждения.

Творчество Карамзина оригинально потому, что он мыслил глубоко и независимо. Его мысль рождалась в напряженном и трудном обобщении опыта бурных событий европейской и русской жизни. История и современность выдвигали перед человечеством, вступившим с начала французской революции в новую эру, невиданные ранее конфликты. Грозным представляло и настоящее, и будущее. Путешествие двадцатитрехлетнего Карамзина по Европе, во время которого он оказался свидетелем революции во Франции, явилось своеобразным университетом, определившим всю его дальнейшую жизнь. Он не только возмужал и обогатился знаниями и опытом – впечатления сформировали его личность и, главное, разбудили мысль Карамзина, обусловили его страстное желание понять происходившее не только в отечестве, но и в мире. Именно потому произведения, писавшиеся и печатавшиеся после возвращения на родину, ярко освещены пытливым мышлением. Молодой писатель уже с этого времени будет стараться давать свои ответы на вставшие перед человечеством – а следовательно, и перед ним – вопросы. Естественно, размышления и предлагаемые решения носили субъективный характер.

Художественный мир, созданный Карамзиным, был нов, противоречив, непривычно сложен, нравственно масштабен; он открывал духовно деятельную жизнь отдельной личности, а потом и целого народа, жизнь современную и историческую. В этот мир нельзя входить с предубеждением и готовыми идеями, он требует понимания и объяснения. Оттого Карамзин на протяжении полутора веков воспринимался активно; история изучения его творчества характеризуется отливами и приливами: его или превозносили, или отвергали.

Вот почему пушкинская оценка Карамзина актуальна и сегодня. Карамзин – это прошлое русской литературы, шире – русской культуры. Прошлое должно уважать. Но чтобы уважать, его надо знать. Сегодня мы еще очень плохо знаем Карамзина. До сих пор нет полного, комментированного собрания сочинений писателя. Около ста лет в полном объеме не переиздавалась «История государства Российского». Систематически перепечатывалась только повесть «Бедная Лиза», по которой и происходит знакомство с Карамзиным. Это все равно, если бы о Пушкине мы судили лишь по его повести «Станционный смотритель»...

В последние десятилетия положение стало меняться. В 1964 г. вышли избранные сочинения Карамзина в двух томах, куда вошли стихотворения, повести, «Письма русского путешественника», критические и публицистические произведения, отрывки из десятого и один-

надцатого томов «Истории государства Российского» (об Иване Грозном и Борисе Годунове). В 1966 г. в серии «Библиотека поэта» выпущено полное собрание стихотворений Карамзина. В 1980 и 1982 гг. (в издательстве «Правда») напечатаны «Письма русского путешественника». В серии «Литературные памятники» готовятся впервые тщательно комментированные «Письма русского путешественника». Появилось несколько интересных работ о жизни и творчестве Карамзина.

И все же мы по-прежнему в долгу перед большим русским писателем, критиком, публицистом, историком.

1

Николай Михайлович Карамзин родился 1 декабря 1766 г. в имении отца недалеко от Симбирска. Детство будущего писателя проходило на берегах Волги – здесь он научился грамоте, рано стал читать, пользуясь отцовской библиотекой. Семейный врач – немец – был и воспитателем, и учителем мальчика, он же обучил его немецкому языку.

Для продолжения образования четырнадцатилетнего отрока отвезли в Москву и отдали в частный пансион университетского профессора Шадена. Учил Шаден по университетской гуманитарной программе, главное место в ней занимали языки. В последний год пребывания в пансионе Карамзин слушал лекции в университете, о котором сохранил добрую память. Годы учения отмечены напряженным самообразованием – Карамзин по-прежнему много читал, был в курсе современной немецкой, французской и английской литературы.

Закончив занятия в пансионе, Карамзин прибыл в Петербург. Здесь он встретился со своим родственником И. И. Дмитриевым.

По заведенному порядку дворянские дети поступали на военную службу – и Карамзин поступил в один из лучших гвардейских полков. Но военная служба не привлекала юношу – он еще в пансионе проявил склонность к литературным занятиям и в Петербурге их продолжил. В 1783 г. появился в печати первый карамзинский перевод идиллии швейцарского поэта Геснера – «Деревянная нога».¹

Смерть отца неожиданно изменила его судьбу: 1 января 1784 г. он подал в отставку и в чине поручика был выпущен из армии. Больше Карамзин не служил и всю жизнь занимался только литературным трудом.

2

После устройства своих дел в Симбирске Карамзин в 1784 г. приезжает в Москву. Земляк Карамзина – масон и переводчик И. П. Тургенев – принял его в масонскую ложу, познакомил со своим приятелем, крупным русским просветителем и книгоиздателем Николаем Новиковым, сближение с которым оказало благотворное влияние на начинающего литератора.

В 1780-е гг. Новиков последовательно издавал ряд журналов: «Утренний свет», «Московское издание», «Прибавление к „Московским ведомостям“», «Детское чтение» и др., редактировал газету «Московские ведомости». Но главным делом его было издание художественной литературы – русской и иностранной в переводах, сочинений по философии, истории, социологии, учебных пособий, книг, посвященных домоводству и хозяйственным делам, различных медицинских «лечебников» и руководств.

¹ В идиллии Геснера Карамзина привлекло изображение идеальности счастливой жизни швейцарцев в свободной республике. «Вольность, сия дражайшая вольность делает счастливой всю страну», – читаем мы в переводе. Подробнее об этом см.: Кросс О. Разновидности идиллии в творчестве Карамзина. – В кн.: XVIII век. Сборник 8. Л., 1969.

Увлечение Новикова масонским учением «о братстве всех людей» привело его в масонский орден. Разделяя нравственные концепции масонов, их идеи самовоспитания, он, однако, отстранялся от мистических исканий «братьев», презирал нелепую обрядность масонов и стремился использовать орден и его денежные средства для своих просветительских и филантропических целей. Так, в частности, и была создана Типографическая компания. Оказавшись в книгоиздательском и масонском кругу Новикова, Карамзин увлекся литературным делом и вопросами нравственного воспитания. Вступая в жизнь, он стремился понять, каково назначение человека, что должно определять его поступки и цель жизни. С масонами Карамзин был связан с 1785 по 1789 г. В тот же период он сблизился с А. Петровым. И. И. Дмитриев так характеризует Петрова и его дружбу с Карамзиным: «Он знаком был с древними и новыми языками при глубоком знании отечественного слова, одарен был и глубоким умом, и необыкновенною способностью к здоровой критике... Карамзин любил Петрова, хотя они были не во всем сходны между собою: один пылок, откровенен и без малейшей желчи; другой угрюм, молчалив и подчас насмешлив. Но оба питали равную страсть к познаниям, к изящному; имели одинаковую силу в уме, одинаковую доброту в сердце; и это заставило их прожить долгое время в тесном согласии под одной кровлей...» Карамзин оплакал раннюю смерть своего товарища в сочинении «Цветы над гробом Агатона».²

Интерес к человеку, его разуму и страстям, к проблемам воспитания, определение цели жизни и роли в обществе – характерны для того времени. Они занимали умы богословов и масонов, писателей – сентименталистов и просветителей, находились в центре внимания философов-просветителей – Дидро, Гельвеция и Гольбаха, сочинения которых о человеке, о природе, об уме переводили и печатали в России.

Огромен был писательский и нравственный авторитет Новикова. С глубоким уважением относился к нему и Карамзин. Стоит напомнить, что в сознании современников деятельность Новикова – просветителя и масона, издателя журналов, писателя, «типографщика» – соотносилась с деятельностью Франклина – просветителя и масона, ученого и писателя, «типографщика» и политического деятеля. В одном из сочинений, посвященных Новикову, сказано: «Два человека, действовавших в одно время на обоих полушариях земли, для одной цели – Франклин и Новиков».³

Свою близость к Новикову Карамзин подчеркивал в письмах (1786) к известному швейцарскому философу, богослову, поэту, автору нравоучительных сочинений Лафатеру.

В одном из них говорится, что Новиков теперь ничего «больше не хочет писать; может быть, потому, что он нашел другое и более надежное средство быть полезным своей родине».⁴

«Более надежные средства» Новикова – это издательская деятельность, выпуск сотен книг с целью просвещения соотечественников. Новиков приучал к этим «надежным средствам» и любознательного, трудолюбивого юношу Карамзина. В 1786 г. он поручает ему перевод сочинения немецкого писателя-богослова Штурма «Беседы с богом, или Размышления в утренние часы на каждый день года».

Книга Штурма нравственно-религиозная, но ее своеобразие в том, что она как бы моделировала сочинения XVIII в., ставившие своей задачей приучать человека «размышлять» о себе, о своей природе, своих обязанностях, своем долге.

Судьба близко свела Карамзина с русским «типографщиком» Новиковым. Выполняя новиковские поручения, живя в большом новиковском доме (там помещалась и типография Типографической компании), Карамзин, естественно, знакомился и с теми журналами и кни-

² Дмитриев И. И. Соч., т. 2. СПб., 1893, с. 26.

³ См.: Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899, с. 18 (Приложения).

⁴ Переписка Карамзина с Лафатером. Сообщено доктором Ф. Вальдманом. Приготовлено к печати Я. Гротом. СПб., 1893, с. 20–21.

гами, которые издавал просветитель. Новиков, подчинивший всю свою жизнь служению отечеству, человек, делавший бесконечно много добра людям, служил Карамзину примером, каким должен быть настоящий человек. Деятельность юноши в просветительском центре не только позволила ему овладеть журналистским опытом, но и приучила постоянно следить за европейской литературой.

Новиков поверил в способности Карамзина, ему импонировало серьезное отношение молодого человека к литературе, нравственные искания, его желания принести пользу людям. В 1787 г. он привлек Карамзина и его друга, талантливого молодого «любослова» Александра Петрова, для редактирования, а точнее – для подготовки номеров журнала «Детское чтение». Оба редактора разрабатывали программу каждого номера в соответствии с указаниями издателя, распределяли между собой работу. Большая часть журнала состояла из переводов. Карамзин, в частности, перевел пятнадцать небольших повестей французской писательницы Жанлис под общим названием «Деревенские вечера», часть поэмы английского поэта Томсона «Времена года». В «Детском чтении» Карамзин опубликовал и первые свои стихотворения, и прозаические опыты: сюжетную «истинно русскую» повесть «Евгений и Юлия» и лирическую миниатюру «Прогулка». Последнее произведение уже предвещало будущую манеру писателя – автобиографизм, интерес к духовной жизни, любовь к природе, эмоциональный стиль рассказа.

В том же году Карамзин закончил перевод трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (работа была начата в 1786 г.) и передал его Новикову, который немедленно издал книгу.

Издание «Юлия Цезаря» примечательно и предисловием переводчика. В самое последнее время установлено, что Карамзин переводил трагедию не с французского перевода Летурнера, а с немецкого, осуществленного профессором Эшенбургом (другом Лессинга). В предисловии Карамзин использовал некоторые существенные замечания Виланда из его статьи «Дух Шекспира» (1773).⁵ Объясняя русскому читателю смысл художественного новаторства Шекспира, Карамзин выражал и свое личное восхищение могучим талантом этого писателя. Шекспир, по Карамзину, всем своим творчеством отвергал «правила», навязанные искусству классицизмом, и в этом его величие. Шекспир формировал карамзинский идеал свободного художника-гения, отрицающего всякие предписания. Верность натуре, правда жизни во всем ее многообразии, демократизм и широта интересов; умение видеть поэзию в обыкновенном, в человеке любого общественного положения. И самое главное у Шекспира – его философия человека и мастерство в создании характеров. В каждом действующем лице – короле и башмачнике, полководце и шуте – он раскрывает прежде всего человека, позволяя зрителю и читателю увидеть сокровенную жизнь сердца, живые страсти, одушевляющие личность или терзающие ее душу. «Немногие из писателей, – писал Карамзин, – столь глубоко проникли в человеческое естество, как Шекспир; немногие столь хорошо знали все тайнейшие человека пружины, сокровеннейшие его побуждения, отличительность каждой страсти, каждого темперамента и каждого рода жизни, как удивительный сей живописец».

Перевод «Юлия Цезаря» и предисловие к нему – яркое свидетельство быстрого формирования дарования Карамзина. Широкая образованность, глубокие и серьезные знания способствовали проявлению таланта, помогали вырабатывать самостоятельность. Это сказалось в выборе другого перевода – трагедии Лессинга «Эмилия Галотти», который Карамзин сделал для московского театра. Трагедию Лессинга много лет играли московские артисты. Новиков издал ее в 1788 г.

В 1787 г. Карамзин написал первое большое программное стихотворение – «Поэзия», которое напечатал в «Детском чтении» (1789). В нем раскрывается карамзинское понимание роли поэзии в истории человечества. Общая концепция двадцатилетнего поэта, вычитанная из

⁵ См.: Кафанова О. Б. «Юлий Цезарь» Шекспира в переводе Н. М. Карамзина. – Русская литература, 1983, № 2.

книг философов-богословов, утверждала божественное происхождение поэзии. Но главное в стихотворении – это вера в общественное призвание поэзии. «Во всех, во всех странах Поэзия святая Наставницей людей, их счастьем была». Она делала людей лучше, воодушевляла на подвиги:

Омир в стихах своих описывал героев —
И пылкий юный грек, вникая в песнь его,
В восторге восклицал: «Я буду Ахиллесом!
Я кровь свою пролью, за Грецию умру!»

История подтверждала высокую общественную, нравственную и патриотическую миссию поэзии. Вот почему Карамзин приходит к убеждению, что его призвание – служить русской литературе. Россия только начала создавать свою литературу. В письме Лафатеру Карамзин жаловался на бедность русской литературы: «Я не могу доставить себе удовольствия читать много на своем родном языке. Мы еще бедны писателями-прозаиками. У нас есть несколько поэтов, которых стоит читать. Первый и лучший из них Херасков».⁶ Прозаиков действительно почти не было. Но поэты талантливые (и покрупнее Хераскова) были. Был уже великий Державин – его еще, видимо, Карамзин не знает, – лишь через три года он будет его величать «первым нашим поэтом». Мнение Карамзина субъективно. Он не заметил не только Державина, но и Фонвизина, слава которого особенно была шумной после постановки в Петербурге и Москве комедии «Недоросль».⁷

Пребывание в Дружеском обществе, работа в новиковском просветительском центре способствовали самоопределению Карамзина. По свидетельству его друга, поэта И. И. Дмитриева, именно здесь «началось образование Карамзина, не только авторское, но и нравственное. В доме Новикова он имел случай обращаться в кругу людей степенных, соединенных дружбою и просвещением».⁸

Карамзин чувствовал себя готовым к самостоятельной литературной и журнальной работе. Но перед этим он твердо решил совершить путешествие. Оно было необходимо и для завершения образования, и для проверки тех идей и истин, о которых Карамзин узнал из сочинений писателей и философов. Русский путешественник надеялся, что получит ответы на свои вопросы лично от тех, чьи сочинения читал, смело предполагая встретиться с Лафатером и Гердером, Гёте и Бартолеми, Кантом и Виландом. Предположения и надежды оправдались...

Отъезд означал и разрыв с масонским обществом. Уважая людей, искренне делавших добро людям и занимавшихся нравственным усовершенствованием, он решительно не принимал «нелепой обрядности» масонской ложи. Карамзин предупредил московских друзей, что «принимать далее участие в их собраниях» не будет. Ответ их, вспоминал позже Карамзин, «был благосклонный: сожалели, но не удерживали, а на прощание дали мне обед».

В середине мая 1789 г. через Тверь, Петербург и Ригу выехал в дальнейшее путешествие по Европе двадцатитрехлетний русский писатель Николай Карамзин.

⁶ Переписка Карамзина с Лафатером, с. 20.

⁷ Известно, что Карамзин присутствовал на первом представлении «Недоросля» и, следовательно, был свидетелем огромного успеха комедии. За короткое время она трижды издавалась в России и была немедленно переведена на немецкий язык и издана в Вене.

⁸ Дмитриев И. И. Соч., т. 2. СПб., 1893, с. 25, 26–27.

3

Посетив Пруссию, Саксонию, Швейцарию, Францию и Англию, Карамзин вернулся на родину в сентябре 1790 г. Возвращался он с твердо принятым решением издавать с нового года собственный журнал. Во время краткого пребывания в Петербурге он познакомился с Державиным. Начинаящий журналист (издатель журнала), щеголевато одетый путешественник привлек внимание знаменитого поэта, ему понравились умные рассказы об увиденном в Европе; он пообещал посылать в его журнал свои новые стихотворения.

Местом своей деятельности Карамзин избрал знакомую ему Москву. Несомненно, этому способствовали не только дружеские связи, но и деловые, завязанные еще до путешествия.

Решение стать издателем журнала с определенным литературно-философским направлением было значительным общественным поступком начинающего писателя. Следуя примеру (единственному!) Новикова, Карамзин отказывается от какой-либо государственной службы – он не хочет быть чиновником. Ему – журналисту и писателю – дорога независимость. Он разделял мнение своего современника С. Глинки, видевшего главную заслугу Новикова, «определившего свой век», в том, что он «двигал вслед за собою общество и приучал мыслить».⁹

По этому пути собирался идти и Карамзин. Он писал, что «в России литература может быть еще полезнее, нежели в других землях: чувство в нас новее и свежее; изящное тем сильнее действует на сердце и тем более плодов приносит. Сколь благородно, сколь утешительно помогать нравственному образованию такого великого и сильного народа, как российский».

Непосредственное влияние на выбор Карамзиным своей деятельности оказало время – время широкого распространения идей Просвещения и, как казалось в 1790–1792 гг., воплощения в жизни великих истин, провозглашенных философами; время, когда «законы разума всенародно возглашаются». Время требовало активного общественного служения: «...блажен тот из смертных, кто в краткое время жизни своей успел рассеять хотя одно мрачное заблуждение ума человеческого, успел хотя одним шагом приблизить людей к источнику всех истин, успел хотя единое плодоносное зерно добродетели вложить рукою любви в сердце чувствительных и таким образом ускорил ход всемирного совершения!»

Карамзин искренне стремился подчинить свою деятельность этой благородной цели. Издание «Московского журнала» и должно было помогать ускорению хода «всемирного совершения». Тем самым определялась и программа журнала – он включал и русский, и западноевропейский материал: русского читателя должно было держать в курсе идейной жизни эпохи.

Решение Карамзина издавать литературный журнал, задачей которого явилось бы расширение просвещения и «рассеивание заблуждений», было, несомненно, отважным. После жестокого подавления крестьянского восстания под руководством Пугачева (1775) Екатерина II круто изменила свою политику. Она объявила себя «казанской помещицей», подчеркнув тем самым общность интересов помещиков и самодержицы. В 1780-е гг. она уже не заигрывала с просветителями, не стремилась внушать подданным, что в России правит просвещенный монарх. Начавшаяся в 1789 г. французская революция перепугала Екатерину II – ее правительство стало преследовать передовых деятелей (Фонвизина, Княжнина), запрещать издание «подозрительных» книг, закрывать журналы. В условиях, когда началось гонение на Новикова, когда у него отняли типографию, когда готовился его арест, Карамзин и решил занять на общественном поприще место журналиста, издателя.

В ноябре 1790 г. в «Московских ведомостях» Карамзин опубликовал объявление об издании с января ежемесячного «Московского журнала», в котором кратко изложил его будущую программу, предупреждая читателей о принципиально антимаасонском характере своего

⁹ Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895, с. 13.

издания. Бывшие друзья-масоны резко осудили «брата Рамзая» за это. Карамзин не дрогнул, остался верен своим планам и продолжал готовить очередные номера «Московского журнала». Важное место в них заняли сочинения русских писателей. Карамзин сумел привлечь многих талантливых поэтов. Это и авторитетнейший старый поэт М. М. Херасков, и прославленный Державин. Откликнулись и молодые даровитые литераторы И. И. Дмитриев. Ю. А. Нелединский-Мелецкий, Н. А. Львов, С. С. Бобров и др.

Но большинство произведений, напечатанных в «Московском журнале», принадлежали самому Карамзину. Он опубликовал значительную часть «Писем русского путешественника», несколько повестей («Бедная Лиза», «Лиодор», «Наталья, боярская дочь»), лирические прозаические миниатюры («Деревня», «Фрол Силин, благодетельный человек» и др.), печатал свои стихи, выступал рецензентом русских и иностранных книг и спектаклей, переводчиком. Именно «Московский журнал» принес известность и славу Карамзину-прозаику. Его приветствовал и благословлял сам Державин.

В 1794 г. Карамзин, собрав свои прозаические и поэтические произведения из журнала, выпустил их отдельной книгой, которая была встречена с энтузиазмом читающей публикой.

Читатели журнала знакомились и с иностранной литературой: с отрывками из сочинений Стерна («Сентиментальное путешествие» и «Жизнь Тристрама Шенди»), повестью Мармонтеля, переводом поэм Оссиана, отдельных сцен из поэмы «Саконтала» («Шакунтала») индийского поэта Калидасы и др. Печатались в разделе «Смесь» «анекдоты» – интересные факты и события из биографий различных деятелей – прошлого и настоящего, «особливо из жизни славных новых писателей», познавательные статьи («Нечто о мифологии», «Соломон Геснер» и др.), антимасонское по своему содержанию подробное повествование о жизни и похождениях известного авантюриста XVIII в. Калиостро и т. д.

Но, пожалуй, главным источником сведений об идейной жизни европейских стран и прежде всего революционной Франции являлись постоянные разделы в журнале – «О иностранных книгах» и «Парижские спектакли». Именно здесь с наибольшей отчетливостью проявлялась общественная позиция Карамзина, его отношение к французской революции. Карамзин рекомендовал русскому читателю сочинение активного участника революции Вольнея «Развалины, или Размышления о революциях империи», книгу Мерсье «О Жан-Жаке Руссо».¹⁰ Остерегаясь цензуры, Карамзин кратко, но выразительно характеризовал их как «важнейшие произведения французской литературы в прошедшем году».

Рецензии о парижских спектаклях переносили русского читателя в идейную атмосферу города, в котором бурно протекали события революции. Подробно рассматривается пьеса Монвеля «Заключенные в монастырь жертвы», рассказывавшая о гнусных действиях монахов. Сообщалось, что «на италиянском театре играли „Тень графа Мирабо“. Один из вождей революции стал героем спектакля, в нем „сей славный оратор беседует с великими мужами древности“».

Пропаганда острополитических сочинений в годы, когда во Франция разворачивались бурные события, свидетельствует о глубоком внимании Карамзина к этим событиям. Важно и то, что он ни разу не осудил революцию на страницах своего журнала.

Карамзин не боялся касаться и русских дел. Прежде всего должно сказать о позиции молодого писателя в связи с политическими репрессиями, которые начала проводить Екатерина II: в 1790 г. был арестован Радищев за его книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», которая была разрешена цензурой. В 1792 г. по ее указу арестовали Новикова. В этих обстоятельствах Карамзин и напечатал в «Московском журнале» стихотворение «К милости», в котором призывал императрицу не осуждать Новикова. В стихотворении Карамзин излагает свою

¹⁰ Обходя цензуру, Карамзин дает сокращенное заглавие книги; ее полное название: «О Ж.-Ж. Руссо, одном из главных писателей, подготовивших революцию».

концепцию самодержавного правления. Стихотворение построено как перечень условий, обеспечивающих спокойствие в стране и любовь к монарху: «Доколе гражданин довольный Без страха может засыпать», «Доколе всем даешь свободу И света не темнишь в умах; Пока доверенность к народу Видна во всех твоих делах...».

Публикация стихотворения в период русской реакции, в годы французской революции была, несомненно, смелым гражданским поступком. Карамзин это понимал. Знал, что надо проявить осторожность: чтобы стихотворение не было запрещено, он вынужден был снять два стиха – «Доколе права не забудешь, С которым человек рожден», заменив их другими: «Доколе пользоваться будешь Ты правом матери одной...».

4

Содержание «Московского журнала» за 1791 и 1792 гг. с наибольшей отчетливостью выявило основы мировоззрения Карамзина, как оно сложилось с начала его литературной деятельности до 1793 г. Убеждения Карамзина с юности формировались под влиянием философских и эстетических идей французского, немецкого и русского Просвещения. Просветители разбудили интерес к человеку как духовно богатой и неповторимой личности, чье нравственное достоинство не зависит от имущественного положения и сословной принадлежности. Идея личности стала центральной и в творчестве Карамзина, в его эстетической концепции.

«Человек велик духом своим, – говорил Карамзин. – Божество обитает в его сердце». История подтверждала его убеждение, что «род человеческий возвышается и хотя медленно, хотя неровными шагами, но всегда приближается к духовному совершенству». XVIII век в беспримерных масштабах продемонстрировал духовную мощь движения просветителей, показал преобразующую силу идей свободы и справедливости. Карамзин считал, что только Просвещение способно воспитать человека. «Просвещение есть палладиум благонравия», – писал Карамзин. Оно формирует добродетель. Науки и искусства нужны всем людям; как «золотое солнце сияет для всех на голубом своде и все живущие согреваются его лучами», так и просвещение – науки и искусства – нужны и целительны всем: «и властителю и невольнику».

Карамзин был свидетелем и участником всеевропейского просветительского движения, и – помересилсвоих – как переводчик, автор и издатель журнала, он распространял идеи Просвещения и надеялся, что тем способствует делу нравственного воспитания соотечественников.

Социальные убеждения Карамзина были иными. Он не принял идеи социального равенства людей – центральной в просветительской идеологии. С юношеских лет до конца дней своих Карамзин оставался верен убеждению, что неравенство необходимо и неизбежно. В то же время Карамзин признает моральное равенство людей. На этой основе и складывалась в эту пору у писателя отвлеченная, исполненная мечтательности утопия о будущем братстве людей, о торжестве социального мира и счастья в обществе.

Важнейшей особенностью мировоззрения Карамзина конца 1780-х – начала 1790-х гг. является просветительский оптимизм, вера в скорое торжество «законов чистого разума». Наиболее отчетливо эти убеждения выражены в стихотворении «Песня мира», написанном в связи с заключением в декабре 1791 г. Ясского мира, положившего конец Русскотурецкой войне (1787–1791). Но содержание стихотворения и богаче, и шире прославления заключенного мира. Окончание войны явилось для Карамзина прекрасным поводом для поэтического раскрытия своего идеала человеческого общежития. Поэт сознательно подчеркивал общность своего идеала с идеалами просветителей о братстве всех людей и равенстве всех народов («Священный союз всемирного дружества»), о неприятии истребительных войн (идеи «вечного мира» Сен-Пьера и Ж.-Ж. Руссо). Выявление данной общности осуществлялось путем использования стихотворения Шиллера «К радости» (1785), в котором были сфокусированы дорогие обоим поэтам идеи.

Карамзина у Шиллера привлекал сам характер трактовки абстрактно-утопической надежды на неминуемое торжество идей справедливости и воцарения в обществе мира и благоденствия, когда все люди будут братьями. Карамзин, следуя за Шиллером, утверждал, что в этом обществе «агнец тигра не боится и гуляет с ним в лугах» и потому

Миллионы, веселитесь.
Миллионы, обнимитесь.
Как объемлет брата брат!
Лобызайтесь все стократ!

Эти стихи – довольно точный перевод Шиллеровых. Но, опираясь на Шиллера, Карамзин самостоятельно детализирует свое представление о желаемом будущем: «Цепь составьте миллионы, дети одного отца! Вам даны одни законы, вам даны одни сердца!» В этих стихах просветительский идеализм сказался со всей откровенностью – будущее завоевывается воспитанием. Смысл воспитания – в возвращении человека к вечным законам природы, согласно которым все люди братья. Пожалуй, нигде раньше Карамзин не высказывался с такой определенностью, что спасение человечества достигается воспитанием людей. Эта мысль подчеркнута в многократно повторенном рефрене:

Век Астреин, оживи!
С целым миром вы в любви!

Век Астреи, согласно греческой мифологии, – золотой век справедливого общественного устройства. Астрея – богиня справедливости. Такого мотива у Шиллера нет. Для Карамзина эпохи издания «Московского журнала» (1792 г., то есть третий год французской революции) все еще характерна вера в неминуемое торжество идей Просвещения, в возрождение века Астреи.

Идеи, выраженные в «Песне мира», были настолько программно важны для Карамзина, что через несколько месяцев он решил еще раз напомнить читателям журнала о своем идеале. Так была напечатана небольшая статья «Из записок одного молодого россиянина». Записки состоят из одиннадцати миниатюрных фрагментов, посвященных вопросам счастья, воспитания людей, бессмертия души и братства людей. Последней темой и завершаются этюды.

Религиозно-нравственное учение о братстве людей слилось у Карамзина с абстрактно понятыми представлениями просветителей о счастье свободного человека. Рисуя наивные картины возможного «блаженства» «братьев», писатель все же не теряет чувства реальности и потому настойчиво повторяет, что все это «мечта воображения». Подобное мечтательное свободолюбие противостояло воззрениям русских просветителей, которые самоотверженно боролись за осуществление своих идеалов, противостояло революционным убеждениям Радищева. Но в условиях екатерининской реакции 1790-х гг. эти прекраснодушные мечтания и постоянно высказываемая вера в благодетельность просвещения для всех сословий отделяли Карамзина от лагеря реакции, определяли его общественную независимость. Эта независимость прежде всего проявлялась в отношении к французской революции. Естественно, Карамзин не мог приветствовать революцию – он по-просветительски отвергал насильственное изменение общественного устройства. Но он не спешил с ее осуждением, предпочитая внимательно наблюдать за событиями, стремясь понять их действительный смысл.

Эстетические воззрения Карамзина получили свое теоретическое (в статьях и рецензиях) и образно-творческое воплощение в стихах и прозаических произведениях, напечатанных в «Московском журнале». Было ясно, что в русскую литературу пришел талантливый писатель-сентименталист, творчески близкий прославленным авторам века – Руссо и Стерну, – но сохранивший самобытность русского художника.

Сентиментализм, передовое, вдохновленное просветительской идеологией искусство, утверждался и побеждал в Англии, Франции и Германии во второй половине XVIII в. Просвещение как идеология, выражающая не только буржуазные интересы и идеалы, но в конечном счете отстаивающая интересы широких народных масс, принесло новый взгляд на человека и обстоятельства его жизни, на место личности в обществе. Сентиментализм, превознося человека, сосредоточивал главное внимание на изображении душевных движений, раскрывал мир нравственной жизни. Это не значит, что писателей-сентименталистов не интересует внешний мир, что они не видят зависимости человека от нравов и обычаев общества, в котором он живет. Просветительская идеология открыла новому направлению не только идею личности, но и зависимость ее от обстоятельств.

Человек сентиментализма, противопоставляя имущественному богатству богатство индивидуальности и внутреннего мира, богатству кармана – богатство чувства, был в то же время лишен боевого духа. Это связано с двойственностью идеологии Просвещения. Просветители, выдвигая революционные идеи, борясь с феодализмом, оставались сторонниками мирных реформ. В этом проявилась буржуазная ограниченность западного Просвещения: герой европейского сентиментализма – не просто свободный человек и духовно богатая личность, но это еще и частный человек, бегущий из враждебного ему мира, не желающий бороться за свою действительную свободу в обществе, пребывающий в своем уединении и наслаждающийся своим неповторимым «я».

Русским просветителям была близка и дорога философия свободного человека, созданная французским Просвещением. Но в своем учении о человеке они были оригинальны и самобытны, выразив те черты идеала, которые складывались на основе живой исторической деятельности русского народа.

Герой фонвизинского «Недоросля» Стародум, выражая суть своего нравственного кодекса, говорит: «Я друг честных людей». Путешественник Радищева во вступлении к книге «Путешествие из Петербурга в Москву» пишет о себе: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Вот эта способность «уязвляться» страданиями человечества, активно действовать на благо людей и отечества и была объявлена русскими писателями-просветителями основой нравственного кодекса личности.

Карамзин в 1790-е гг. становится вождем русских сентименталистов. Вокруг его изданий (начиная с «Московского журнала») объединялись его литературные друзья – старые и молодые, ученики и последователи. После многолетней плодотворной деятельности французских и русских писателей-просветителей, после художественных открытий, изменивших облик искусства, с одной стороны, и после французской революции – с другой, нельзя было писать, не опираясь на опыт передовой литературы, не учитывать и не продолжать, в частности, традиций сентиментализма Стерна и Руссо. Но при этом следует помнить, что Карамзину европейский сентиментализм был ближе, чем художественный опыт русских просветителей. (Не случайно, например, он замолчал Фонвизина, этого, по выражению Пушкина, «друга свободы».)

В конкретно-исторических условиях русской жизни 1790-х гг., в пору, когда время требовало от литературы глубокого раскрытия внутреннего мира личности, понимания «языка сердца», умения говорить на этом языке, деятельность Карамзина-художника оказала серьез-

ное и глубокое влияние на развитие русской литературы. Как политический консерватизм ни ослаблял общественное воздействие художественного метода нового искусства, все же Карамзин и некоторые талантливые его последователи обновили литературу, принесли новые темы, создали новые жанры, выработали особый слог, реформировали литературный язык.

Несомненно, выяснению особенностей художественной системы сентиментализма Карамзина помогает его типологическое изучение в рамках западноевропейской литературы XVIII в. Но при таком изучении не должно игнорировать национального своеобразия литературного процесса разных стран, в противном случае оно приведет к созданию некоей абстрактной модели общеевропейского сентиментализма. Именно такое положение и сложилось в нашей науке, выдвинувшей две модели сентиментализма – стерновского и руссоистского типа. Задача конкретно-исторического рассмотрения творчества Карамзина оказалась подмененной установлением сходства со стерновской моделью.

Сентиментализм Карамзина, типологически связанный с общеевропейским литературным направлением, – во многом совершенно новое явление. Не только национальные условия жизни, но и время определяло это различие. Сентиментализм на Западе формировался в пору подъема и *наивысшего* расцвета Просвещения, философия которого питала эстетические идеалы нового направления. Сентиментализм Карамзина, также обусловленный Просвещением, сложился окончательно в художественную систему в годы *проверки теорий просветителей практикой французской революции*, в эпоху начавшейся драмы передовых идей и обнаружившейся катастрофичности бытия человека нового времени. Революция показала, что обещанное просветителями «царство разума», справедливости и свободы не наступило. Начиналась эпоха разочарования в идеалах Просвещения, факелы свободы и надежды гасли – оттого-то современная жизнь и казалась трагически-безысходной. Все это определило особый, национально неповторимый облик сентиментализма Карамзина.

Сентиментализм Карамзина типологически связан с европейским сентиментализмом, но исторически является его новым этапом.

Критические работы Карамзина в «Московском журнале» расчищали дорогу новому направлению. Рецензий на русские книги в журнале мало. Но характерно, что, оценивая произведения своего времени, Карамзин прежде всего отмечает как их существенный недостаток отсутствие точности в изображении поведения героев, обстоятельств их жизни.

Разбирая перевод романа Ричардсона «Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов», Карамзин подчеркивал – его главное достоинство «в описании обыкновенных сцен жизни», автора отличает «отменное искусство в описании подробностей и характеров».

С наибольшей откровенностью свое отношение к нормативной поэтике классицизма Карамзин высказал в рецензии на трагедию Корнеля «Сид». Признавая поэтические достоинства трагедии, рецензент решительно не принимает эстетического кодекса Корнеля, отдавая предпочтение Шекспиру в прошлом, Лессингу – в настоящем.

Уже говорилось, что в 1788 г. вышла из печати трагедия Лессинга «Эмилия Галотти» в переводе Карамзина. Через четыре года он выступил с большой статьей, посвященной постановке трагедии на русской сцене. «Эмилия Галотти» привлекла критика тем, как драматург, раскрывая интимную жизнь своих героев, показал, что человек не может отделиться от общества, от социальных и политических обстоятельств, его окружающих, что счастье человека часто зависит от внешних причин, от законов, от действия монарха. Анализируя трагедию, Карамзин пишет, что упования ее героя Одоардо на справедливость монарха иллюзорно: «Какие же средства оставались ему спасти ее (дочь свою Эмилию. – Г. М.)? К законам прибегнуть там, где законы говорили устами того, на кого бы ему просить надлежало?» Ценив Лессинга за глубокое «знание сердца человеческого», Карамзин подводит читателя к мысли о праве личности на сопротивление, правда, на пассивное, но все же сопротивление тирану и вообще всякому, кто «другого человека приневолить хочет». С одобрением критик приводит

слова Одоардо: «Кажется, что я уже слышу тирана, идущего похитить у меня дочь мою. Нет, нет! Он не похитит, не обесчестит ее!» Спасаясь от насилия тирана, Одоардо закалывает свою дочь. Именно за это хвалит Карамзин трагедию, считая ее «венцом Лессинговых драматических творений».

К критическим работам Карамзина в «Московском журнале» примыкают и две статьи, написанные им зимой и весной 1793 г.: «Что нужно автору?» и «Нечто о науках, искусствах и просвещении». Статья «Нечто о науках...» – это гимн человеку, его успехам в искусствах, науках и просвещении. Карамзин глубоко убежден, что человечество идет по пути прогресса, что именно XVIII в. благодаря деятельности великих просветителей – ученых, философов и писателей – приблизил людей к истине. Заблуждения бывают, но они, как «чуждые наросты, рано или поздно исчезнут», ибо человек обязательно придет «к приятной богине-истине». Усвоив просветительскую философию своего времени, Карамзин считает, что «просвещение есть палладиум благонравия». Просвещение благотельно для людей всех состояний.

6

Публикация Карамзиным своих повестей явилась крупным событием литературной жизни последнего десятилетия XVIII в. Глубоко лирические по стилю, они открывали поэзию душевной жизни обыкновенных людей, запечатлев тонкие переживания героев, сложность и противоречивость их чувств. Действие в повестях развивается стремительно, но не сюжет увлекает читателя, а психологический драматизм рассказа, обнажение «тайное тайных» душевного мира личности, «жизнь сердца» героев и самого автора, который доверительно беседовал с читателем, делясь с ним думами, не скрывая своих чувств и своего отношения к героям.

Все в повестях было ново для читателя, но это новое, неожиданное не оттолкнуло его, потому что было высказано вовремя. Читатель уже знал – в оригинале или в переводах – многие произведения европейского сентиментализма. Стерн и Руссо, Гёте и Ричардсон и многие другие английские, французские и немецкие писатели сосредоточили свое внимание на психологическом анализе личности: раскрывая духовное богатство человека, они учили ценить его за сложность переживаний, реабилитировали его страсти.

Романы этих писателей были известны в России до Карамзина, а сам Карамзин был их восторженным почитателем. Теперь читатель обрел в Карамзине русского писателя, который писал о русской жизни, о русских людях, писал современным языком, наделенным способностью передавать «невыразимое» состояние души, глубоко эмоциональный пафос жизни человека.

Оттого читатель горячо, с небывалым энтузиазмом принял повести молодого писателя. Такого успеха, такой популярности не получало еще ни одно произведение русской литературы. Славу писателю принесла повесть «Бедная Лиза» (1792). Повести Карамзина пользовались успехом и в первом десятилетии XIX в.

Оценивая достижения Карамзина в развитии русской прозы, Белинский писал: «Карамзин первый на Руси начал писать повести, которые заинтересовали общество... повести, в которых действовали люди, изображалась жизнь сердца и страстей посреди обыкновенного повседневного быта». Справедливо указал критик и на их слабость: в них нет «творческого воспроизведения действительности», но изображается лишь нравственный мир его современников, «как в зеркале, верно отражается жизнь сердца... как она существовала для людей того времени». Итоговая оценка критика звучала суровым приговором: повести Карамзина сохранили только «интерес исторический».¹¹

¹¹ Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т., т. 6. М., 1981, с. 104.

Время и обстоятельства литературной борьбы за реалистическое искусство определили такой приговор критика. Повести Карамзина принадлежат к лучшим художественным достижениям русского сентиментализма. Они сыграли значительную роль в развитии русской литературы своего времени. Интерес исторический они действительно сохранили надолго. Но только ли исторический?

Канули в вечность увлечения, вкусы, представления дворянского читателя конца XVIII в., любившего повести Карамзина. Давно забыты литературные споры, которые они вызывали, «преданьем старины глубокой» звучат мемуарные свидетельства о шумном успехе «Бедной Лизы» – девушки-поклонницы, такие же несчастные, как Лиза, топились в том же пруду у Симонова монастыря.

Современный читатель свободен от прежних традиций. Что же откроется ему в наивном и старомодном, подчеркнуто эмоциональном рассказе о нравственной жизни русских людей прошлого, что скажут повести его уму и сердцу, что привлечет его внимание и, главное, привлечет ли, когда он будет сегодня читать повести Карамзина?

Чувствительность – так на языке конца XVIII в. определяли главное достоинство повестей Карамзина. Писатель учил сострадать людям, обнаруживал в «изгибах сердца» «нежнейшие чувства», погружал читателя в напряженную эмоциональную атмосферу «нежных страстей». «Чувствительным», «нежным» и называли Карамзина.

Трагизм жизни человека – вот что прежде всего обнаружит современный читатель в повестях Карамзина, вот что привлечет его внимание.

Повести «Бедная Лиза» и «Остров Борнгольм» посвящены традиционной любовной теме, истории двух любящих существ. Но при решении этой темы Карамзин разрушил каноны любовной повести. Его герои ищут счастья в любви, но, странное дело, чувства их лишены камерности, они живут даже не в привычных домашних условиях, а в большом и жестоком мире, оказавшись втянутыми в какой-то непостижимый для них конфликт с действительностью. Бесчеловечный, фатальный закон этой жизни лишает их счастья, делает жертвами, обрекает на гибель или постоянные страдания. Герои Карамзина – словно люди, потерпевшие кораблекрушение, выброшенные на суровый и дикий берег, одинокие на безлюдной земле.

С еще большей обнаженностью, чем в «Бедной Лизе», этот фатальный закон, обрекающий человека на страдание и гибель, раскрыт в повестях «Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена». «Остров Борнгольм» – одна из лучших повестей Карамзина, она написана в стиле раннего романтизма,¹² – отсюда таинственность места действия: заброшенный в море остров с экзотическим названием, средневековый замок, подземелье, где томится за неизвестную вину молодая женщина, недосказанность в развитии сюжета, намеки повествователя как стилистический принцип рассказа.

В чем же суть того фатального закона, который управляет судьбами героев повестей Карамзина? Герой повести «Остров Борнгольм» – несчастный юноша, насильственно разлученный со своей возлюбленной, поет печальную песню, в которой рассказывает историю своей любви к Лиле. В ней откровеннее всего говорится о трагическом противоречии между законами природы и законами иными – бесчеловечными, неумолимо действующими в обществе. Юноша пытается отстоять свое право на счастье, ссылаясь на природу: «Природа! Ты хотела, чтоб Лилу я любил!» Но «законы», люди осуждают их страсть, объявляют ее преступной.

Что же это за «власть», которая «сильнее» любви? Какие законы могущественнее велений природы? Кто создает эти законы и управляет, следуя им? Карамзин не отвечает на эти вопросы, отказывается дать оценку этим законам – он лишь констатирует их неодолимое действие.

¹² См.: Вацуру В. Э. Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров Борнгольм». – В кн.: Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века. Л., 1969.

Сюжетно «Бедная Лиза» оказывалась близкой любовному романсу. Вывод Карамзина: «и крестьянки любить умеют» – был обобщением этического кодекса песни. Но оптимизм песни был ему чужд. Он показывает гибель Лизы, отказываясь от исследования причин ее несчастья, уходя от вопроса, кто виноват. Страдание есть – виновных нет, констатирует писатель. «Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиней, он не мог утешиться и почитал себя убийцей». Скоро горящий Эраст умирает.

Но Карамзин-художник не мог не видеть реальных контуров того закона, который погубил его героев. И как ни убегал он от реальной действительности с ее социальными противоречиями, она вторгалась в повесть. В момент зарождения любви к Эрасту Лиза признается: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином...»

Понимание, что социальное неравенство (дворянин не мог жениться на крестьянке) погубит любовь, не помогло преодолеть влечение сердца – Лиза полюбила и тем обрекла себя на гибель. В минуту искренности и сердечных признаний Эраст обещал Лизе никогда не расставаться с нею. Трепеща, Лиза говорит ему: «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем... Я крестьянка». Охваченный страстью Эраст уверяет, что закон неравенства не властен над ним: «Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, – и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу».

Предчувствие не обмануло Лизу – Эраст бросил ее, ту, которую любил, и женился без любви, но на ровне, дворянке, «пожилой богатой вдове». И читатель не может не понять, что причиной несчастий героев является не отвлеченный моральный закон, а закон, созданный людьми, закон социального неравенства.

7

В конце 1792 г. было завершено издание «Московского журнала». Карамзин с воодушевлением отдался новым планам и замыслам. Он готовил издание альманаха «Аглая», писал повести, стихи, работал над продолжением «Писем русского путешественника». И в это время неожиданные политические события породили идейный кризис, который стал рубежом творческой жизни писателя.

Случилось это летом 1793 г. В июле Карамзин уехал в орловское имение на отдых. В августе новые известия о французских событиях смутили душу писателя. В письме к Дмитрию он сообщал: «...ужасные происшествия Европы волнуют всю душу мою». С горечью и болью думал он «о разрушаемых городах и погибели людей». Тогда же написанный очерк «Афинская жизнь» оканчивался автобиографическим признанием: «Я сижу один в сельском кабинете своем, в худом шлафроке, и не вижу перед собою ничего, кроме догорающей свечи, измаранного листа бумаги и гамбургских газет, которые... известят меня об ужасном безумстве наших просвещенных современников».

Что же произошло во Франции? Борьба правых депутатов конвента (жирондистов), выражавших интересы буржуазии, испугавшейся размаха народной революции, и якобинцев, представителей истинно демократических сил страны, достигла апогея. Весной в Лионе вспыхнул поднятый контрреволюционерами мятеж. Его поддержали жирондисты. Началось грандиозное восстание против революции в Вандее. Спасая революцию, опираясь на восстание парижских секций (31 мая – 2 июня), якобинцы во главе с Робеспьером, Маратом и Дантоном установили диктатуру. Вот эти события, развернувшиеся в июне – июле 1793 г., о которых Карамзин узнал в августе, и повергли его в смятение, испугали, оттолкнули от революции. Рухнула прежняя система взглядов, закралось сомнение в возможности человечества достичь счастья и благоденствия, стала складываться система откровенно консервативных убеждений. Выражением этого смятенного сознания Карамзина и крушения прежних просветительских идеалов, мучивших противоречий стали статьи-письма «Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору».

Мелодор и Филалет – это не разные люди, это «голоса души» самого Карамзина, это смущенный и растерянный Карамзин старый и Карамзин новый, ищущий иных, отличных от прежних, идеалов жизни, стремящийся найти выход из событий, потрясших всю Европу.

Крушение веры в гуманистические идеалы Просвещения было трагедией Карамзина. Герцен, остро переживавший свою духовную драму после подавления французской революции 1848 г., называл эти выстраданные признания Карамзина «огненными и полными слез». В той же статье и в связи с Карамзиным Герцен так определил важнейшую особенность русских людей и русских писателей в первую очередь – их отзывчивость к общечеловеческим делам и судьбам: «...Странная судьба русских – видеть дальше соседей, видеть мрачнее и смело высказывать свое мнение...»¹³

Мелодору, разочаровавшемуся в веке Просвещения, отвечает Филалет. Он тяжело переживает события французской революции, но не теряет оптимизма и продолжает верить в поступательный ход истории, верит в прогресс, верит в человека, в доброе начало человеческой природы.

Противоречия мировоззрения Карамзина, запечатленные в драматическом диалоге Мелодора и Филалета, не были решены ни в конце 1793 г., ни в следующие два года. Оттого с осени 1793 г. начинается новый период творчества Карамзина – разочарование в идеологии Просвещения, неверие в возможность освободить людей от пороков, поскольку страсти неистребимы, убеждение, что следует жить вдали от общества, от исполненной зла жизни, находя счастье в наслаждении самим собой.

В центре творчества стала теперь личность автора; автобиографизм находит выражение в раскрытии внутреннего мира тоскующей души человека, бегущего от общественной жизни, пытающегося найти успокоение в эгоистическом счастье. С наибольшей полнотой новые взгляды выразились в поэзии.

Если в первый период (конец 1780-х – начало 1790-х гг.) поэзия Карамзина была исполнена просветительского оптимизма и веры в общественные связи человека, в его интерес к объективному, реальному миру, то в годы мировоззренческого кризиса позицию Карамзина-поэта определял субъективизм.

Манифестом Карамзина начального периода творчества явилось стихотворение «Поэзия», написанное еще в 1787 г., но полностью напечатанное в «Московском журнале». Там же были напечатаны политические и гражданственно-патриотические стихотворения – «К милости», «Военная песнь». Следуя за патриотическими одами Державина, Карамзин обращается с призывом к «россам», «в чьих жилах льется кровь героев»: «Туда спеши, о сын России! Разить бесчисленных врагов».

Когда формировалось дарование Карамзина (1780-е гг.), самым крупным и ярким поэтом был Державин, теснейшими узами связанный со своим временем. Поэзия Державина именно своим настойчивым интересом к человеку была близка Карамзину. Только герой большинства карамзинских стихов жил тише, скромнее, он лишен был гражданской активности державинских героев. Карамзин не способен был гневно возмущаться, грозно напоминать «властителям и судиям» об их высоком долге перед своими подданными, громко и шумно радоваться. Он как бы прислушивается к тому, что происходит в его сердце, улавливает никому не ведомую, но по своему большую жизнь. Общий тон стихотворений этих лет светлый, не замутненный страхом, мистикой, отчаянием. «Да светлеет сердце наше, да сияет в нем покой», – провозглашает поэт.

Вера в жизнь, несмотря на все страдания и скорби, которые обрушиваются на человека, дух оптимизма пронизывают и замечательную балладу «Граф Гваринго».

Разочарование в возможности перестроить общественную жизнь на основе разумных просветительских идеалов обусловило новый характер лирики Карамзина. В 1794 г. он напи-

¹³ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 6. М., 1955, с. 12, 10.

сал два дружеских послания – И. И. Дмитриеву и А. Плещееву, в которых с публицистической остротой изложил новые, глубоко пессимистические воззрения на проблемы общественного развития. Некогда он «мечтами обольщался», «любил с горячностью людей», «желал добра им всей душой». Но последние события во Франции показали, как безумны были мечтания философов. «И вижу ясно, что с Платоном республик нам не учредить».

Погрузив человека в мир чувств, поэт заставляет его жить только жизнью сердца, поскольку счастье только в любви, дружбе и наслаждениях природой. Так появились стихотворения, раскрывающие внутренний мир замкнутой в себе личности («К самому себе», «К бедному поэту», «Соловей», «К неверной», «К верной» и др.). Поэт проповедует философию «мучительной радости», называет сладостным чувством меланхолию, которая есть «нежнейший перелив от скорби и тоски к утехам наслажденья». Гимном этому чувству явилось стихотворение «Меланхолия».

В стихотворении «Соловей» Карамзин, может быть впервые с такой смелостью и решительностью, противопоставил миру реальному мир, творимый воображением человека. Поэту долг поэта – «вымышлять», и истинный поэт – «это искусный лжец». Он признавался: «Мой друг! существенность бедна: играй в душе своей мечтами». Подготовленный сборник своих произведений Карамзин называет «Мои безделки» (1794); он демонстративно декларирует свое намерение писать для женщин, быть приятным «красавицам» («Послание к женщинам»).

Создавая новую лирику, Карамзин обновил русскую поэзию. Он внес новые жанры, которые в последующем мы встретим у Жуковского, Батюшкова и Пушкина-лицеиста: балладу, дружеское послание, поэтические «мелочи», остроумные безделушки, мадригалы и т. д. Недовольный, как и некоторые другие поэты (например, А. Радищев), засильем ямба, он использует хорей, широко вводит безрифменный стих, пишет трехсложными размерами. В элегической, любовной лирике Карамзиным был создан особый поэтический язык – для раскрытия жизни сердца. Фразеология Карамзина, его образы, поэтические словосочетания (типа: «люблю – умру любя», «слава – звук пустой», «голос сердца сердцу внятен», «любовь питается слезами, от горести растет», «дружба – дар бесценный», «беспечной юности утеха», «зима печали», «сладкая власть сердца» и т. д.) были усвоены последующими поколениями поэтов, их можно встретить и в ранней лирике Пушкина.

Значение Карамзина-поэта отчетливо и лаконично определено П. А. Вяземским: «С ним родилась у нас поэзия чувства, любви к природе, нежных отливов мысли и впечатлений, словом сказать, поэзия внутренняя, душевная... Если в Карамзине можно заметить некоторый недостаток в блестящих свойствах счастливого стихотворца, то он имел чувство и сознание новых поэтических форм».

Бегство Карамзина от насущных вопросов общественнополитической жизни тяготило писателя. Но годы кризиса были и годами исканий. Вне учета этого обстоятельства нельзя понять истинный смысл творчества конца 1790-х гг. Традиционно одностороннее и в конечном счете субъективистское толкование произведений Карамзина этих лет не позволяет понять драматизм не только кризиса мировоззрения писателя, но и настойчивых поисков выхода из создавшегося положения. Причем поиски эти обуславливались временем, и открытия, сделанные в конце концов Карамзиным, были достижением не только личности писателя, но и русской исторической мысли конца XVIII в.

8

Главным произведением 1790-х гг., несомненно, были «Письма русского путешественника». Они должны были составлять ядро задуманного писателем «Московского журнала». В объявлении об его издании читателям были обещаны «записки» путешественника. Обещание

издатель выполнил – с первого же номера нового журнала (1791) он публиковал «Письма». Судя по объявлению в «Московских ведомостях», «Письма», видимо, должны были быть полностью опубликованы в журнале.

Но европейские политические обстоятельства, идейный кризис Карамзина, а также активизация в России сил реакции помешали закончить «Письма» в намеченный срок. Работа над ними несколько раз прерывалась и вновь возобновлялась.

Только в 1801 г. «Письма» вышли в завершённом виде отдельной книгой. Время и обстоятельства наложили свою печать на характер повествования, на оценки событий. Особенно это сказалось на тексте последних двух частей, многие страницы которых были посвящены событиям французской революции.

Просветительство обусловило оптимистический характер убеждений Карамзина. С этой верой молодой писатель и отправился в путешествие по странам Западной Европы. В пути он вел записи увиденного, услышанного, фиксировал свои впечатления, размышления, разговоры с писателями и философами, делал зарисовки беспрестанно менявшихся ландшафтов, отмечал для памяти то, что требовало подробного объяснения (сведения об истории посещаемых стран, общественном устройстве, искусстве народов и т. д.). Но поскольку своему сочинению Карамзин придал форму дорожных писем, адресованных друзьям, он имитировал их частный, так сказать практический, а не художественный характер, подчеркивал непосредственность записей своих впечатлений в пути. Оттого, начиная с первого письма, выдерживается этот тон: «Расстался я с вами, милые, расстался!»; «Вчера, любезнейшие мои, приехал я в Ригу» и т. д.

С той же целью было написано предисловие, в котором читатель предупреждался, что в своих письмах путешественник «сказывал друзьям своим, что ему приключилось, что он видел, слышал, чувствовал, думал, – и описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашом». Рекомендуя свое произведение как собрание бытовых писем путешественника друзьям, Карамзин стремился сосредоточить внимание читателя на их документальности. «Письма» представляли как исповедальный дневник русского человека, попавшего в огромный, неизвестный им мир духовной и общественной жизни европейских стран, в круговорот европейских событий.

В действительности «Письма» писались в Москве на протяжении многих лет.¹⁴

На избрание жанра оказала влияние уже сложившаяся в европейской литературе традиция. Структуру жанра «путешествия» отличает динамизм, ей чужда нормативность. В Англии первой половины XVIII в. были созданы различные «путешествия» (Дефо, Свифт, Смоллет), которые объединяла общность авторской позиции – писатели стремились точно изобразить увиденное, реальную действительность, общественную жизнь с ее противоречиями, чтобы не только осуждать ее бесчеловечность, но и открыть в ней, в живой жизни, источник будущего ее обновления.

Лоренс Стерн, используя уже сложившуюся традицию, относится к ней полемически, решительно преобразует структуру жанра и создает новый тип его – «Сентиментальное путешествие» (1768). Писателя интересует не реальный мир, в котором находится его герой, путешественник Йорик, но его отношение к увиденному, не реальные факты, а субъективное отношение к ним путешественника. Жанр путешествия Стерн подчиняет задаче обнаружения сложной, постоянно изменчивой, противоречивой духовной жизни человека. Сентиментальное путешествие оказалось путешествием в тайный, от всех скрытый, неисчерпаемо богатый нравственный мир личности.

Стерн – скептик, уже увидевший у себя на родине крушение возрожденческих и просветительских идеалов и учений. На оселке беспощадной иронии проверяет он «прочность» идеалов, нравственных норм, традиционных верований и убеждений. Психологизм оказы-

¹⁴ См.: Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника».

вался высокоэффективным методом раскрытия противоречивости сознания Йорика, лишённого пиетета перед высокими обязанностями человека, бравирующего своим правом все брать под сомнение, над всем в меру издеваться, в меру горько смеяться...

Достерновская традиция английского «путешествия» продолжена была современником Карамзина – французским писателем Дюпати, издавшим в 1785 г. «Путешествие в Италию». В книге читатель находил массу интересных и полезных сведений о гражданских учреждениях городов Италии и образе жизни населения, о музеях и храмах, дворцах и библиотеках, о картинах и особенностях итальянского языка и т. д. Автор в описаниях точен, его интересуют факты, реальная жизнь, он стремится вооружить читателя знаниями.

Карамзин читал и высоко оценивал и «Сентиментальное путешествие» Стерна, и «Путешествие в Италию» Дюпати. Он учитывал их достижения, овладевал опытом использования жанра «путешествия» для своих целей. Оттого его «Письма русского путешественника» оригинальное сочинение – оно рождено на русской почве, определено потребностями русской жизни, оно решало задачи, вставшие перед русской литературой.

С петровского времени перед обществом остро и на каждом историческом этапе злободневно стоял вопрос о взаимоотношении России и Запада. Вопрос этот решался и на государственном, и на экономическом и идеологическом уровнях. Из года в год росло число переводов книг из статей по разным отраслям знаний с различных европейских языков. Опыт Запада – политический, общественный, культурный – все время осваивался и учитывался, при этом осваивался и учитывался и примитивно, подражательно, и критически, самостоятельно.

И все же о Западе русские люди знали очень мало. Запад о России знал и того меньше. Карамзин хорошо понимал сложившееся положение и осознавал свой долг писателя преодолеть это взаимное незнание. Он писал: «Наши соотечественники давно путешествуют по чужим странам, но до сих пор никто из них не делал этого с пером в руке». Карамзин и принял на себя ответственность путешествовать «с пером в руке». Его «Письма» открывали Запад широкому русскому читателю и знакомили Запад с Россией. Это своеобразная энциклопедия, запечатлевшая жизнь Запада накануне и во время величайшего события конца XVIII в. – Великой французской революции.

Читатель узнавал о политическом устройстве, социальных условиях, государственных учреждениях Германии, Швейцарии, Франции и Англии. Ему сообщались результаты изучения истории больших городов Европы и особенно подробно излагались собственные впечатления о Лейпциге и Берлине, Париже и Лондоне. При этом история городов раскрывалась часто через материальные памятники культуры – музеи, дворцы, соборы и библиотеки, университеты; история стран оказывалась запечатленной в литературе, науке, искусстве.

Бесконечно богат круг интересов русского путешественника: он посещает лекции знаменитых профессоров Лейпцигского университета и участвует в народных уличных гуляниях, дни проводит в знаменитой Дрезденской галерее, внимательно изучая картины великих европейских художников, и заглядывает в кабачки, беседует с их завсегдатаями, знакомится с купцами и офицерами, учеными и писателями, серьезно исследует жизнь крестьян в Швейцарии, стремясь понять, что определяет их благополучие, их процветание.

Но русский путешественник не только наблюдает и записывает подробности увиденного и услышанного – он обобщает, высказывает свое мнение, делится с читателем своими мыслями, своими сомнениями. Он отмечает вредное влияние полицейской государственности Германии на свободу и жизнь нации, с глубоким уважением относится к немецким философам, чьи идеи и учения получили широкое распространение в Европе (Кант, Гердер). Путешественник подчеркивает, что именно конституционный строй Швейцарии и Англии является основой благополучия этих наций. При этом он с особой симпатией относится к Швейцарской республике. В ее государственном и социальном устройстве он видит воплощение социального идеала Руссо. Ему кажется, что в этой маленькой республике просвещение нации дало благие

результаты – под его воздействием все люди стали добродетельными. Тем самым утверждалась мысль, что не революция, а просвещение нужно народам для их благополучия.

Все сообщенное русским путешественником – и наблюдения, и факты, и размышления – заставляло русского читателя сопоставлять с известными ему порядками, образом жизни у себя на родине, сопоставлять и думать о русских делах, о судьбе своего отечества.

Особое место в «Письмах русского путешественника» занимает Франция. На страницах, посвященных этой стране, также рассказывалось о жизни разных слоев населения Франции, об истории Парижа, описывался облик столицы – ее дворцы, театры, памятники, знаменитые люди...

Но, конечно, главным во Франции было грандиозное событие, проходившее на глазах путешественника, – революция. Оно вызывало интерес и пугало, привлекало внимание и ужасало. Как писать о революции, Карамзин еще не знал. Но, с другой стороны, он понимал, что в русских условиях 1790-х гг., в пору екатерининских гонений и преследований всех передовых деятелей, писать о революции было и опасно, и безнадежно – цензура бы не пропустила... Оттого-то печатание «Писем» в «Московском журнале» было прекращено на известии о въезде путешественника в Париж... Свое мнение о французской революции писатель выскажет позже, когда определится его позиция.

Другой особенностью «Писем», соседствующей с информативностью, – была лирическая стихия «Писем русского путешественника». В них отразилось личное, эмоциональное отношение путешественника ко всему увиденному на Западе. Читатель узнавал, что радовало путешественника, что огорчало и печалило, что вызывало симпатии и что пугало и отталкивало. Это личное отношение запечатлелось в стиле – он иногда ироничен, иногда чувствителен, иногда строго деловит. Стиль раскрывал духовный мир путешественника.

Не только органическое слияние информативного и лирического начал обуславливает оригинальность «Писем русского путешественника», но прежде всего создание образа путешественника. В этом плане принципиально уже само заглавие произведения, каждое слово которого значимо и существенно важно для понимания жанра. «Письма» – это указание на традицию, которая сложилась в западной и русской литературе: письмо – это исповедь, признание, даже информация, но не справочного, не научного типа, это рассказ о пережитом конкретной личностью.

Второе слово заглавия существенно уточняло понимание и восприятие читателем данной личности – это русский, представитель русской культуры, посланец русской литературы в европейских странах.

Третье слово заглавия – путешественник – мотивирует и оправдывает место действия героя в произведении – европейские страны, его передвижение в пространстве, динамически меняющиеся впечатления.

Путешественник живет напряженной духовной жизнью, его волнуют встречи и события, он постоянно задумывается об узанном новом, ищет сам и заставляет своего читателя искать ответов на многие важные вопросы жизни. Читатель «Писем» видит и понимает проходящий у него на глазах процесс духовного развития русского Путешественника в пору великой европейской революции. Оттого драматизм переживаний и мысли – главная особенность образа Путешественника.

Оригинальность «Писем» до сих пор недостаточно раскрыта и показана. Чаще всего это произведение рассматривается в абстрактном ряду сентиментальных путешествий, не замечается и недооценивается объективный образ Путешественника. «Письма» рассматриваются как «зеркало души» самого Карамзина, как его своеобразный дневник.

Между тем Карамзин считал себя обязанным специально предупредить будущих читателей «Писем русского путешественника», что этим путешественником является не он сам, а его приятель, который во время странствования по Европе вел записки. В «Объявлении»

об издании «Московского журнала» Карамзин, сообщая его программу, в частности, писал: «Один приятель мой, который из любопытства путешествовал по разным землям Европы, – который внимание свое посвящал натуре и человеку, преимущественно пред всем прочим, и записывал то, что видел, слышал, чувствовал, думал и мечтал, – намерен записки свои предложить почтенной публике в моем журнале, надеясь, что в них найдется что-нибудь занимательное для читателей».¹⁵ Не считаться с этим предупреждением нельзя: Карамзину важно было, чтобы читатель воспринял его сочинение как реальный документ, принадлежащий конкретному человеку («приятелю» издателя журнала), содержание «записок» которого в письмах к семейству друзей своих объективно и может представлять интерес для других, быть «занимательным» для читателей журнала.

Более того: Карамзин при печатании «Писем» в журнале все время подчеркивал, что он публикует чужой текст. Особенно наглядно это проявлялось в «примечаниях издателя», которые документировали работу Карамзина с «Письмами» как с чужим текстом. В ряде случаев Карамзин делал примечания, оговаривая, что они принадлежат издателю. В тексте «Писем» употреблено слово «промышленность» («Везде знаки трудолюбия, промышленности, изобилия»). Карамзин-издатель делает примечание: «Не может ли сие слово означать латинского *industria* или французского *Industrie*?»¹⁶ Любопытно, что в позднейшем, отдельном издании «Писем» это примечание снято и заменено другим – идущим от автора-Карамзина: «Это слово сделалось ныне обыкновенным: автор употребил его первый».

Конечно, читатель и XVIII в., и современный знают, что путешествие совершил Карамзин, что он автор «Писем». Но нельзя забывать, что он создал художественное произведение и все в нем написанное, в том числе и образ Путешественника, должно воспринимать по законам художественного изображения и познания жизни.

Герой «Сентиментального путешествия» – Йорик, а не Стерн, хотя многое во взглядах Йорика близко и дорого Стерну. Путешественнику Карамзин много дал своего, в нем запечатлены многие черты личности самого автора, и все же образ Путешественника не адекватен Карамзину. Между Автором и Путешественником существует дистанция, порожденная искусством, Карамзин в «Письмах» един в двух ипостасях.

Следует учитывать и то, что эта «раздвоенность» порождалась не только художественной природой произведения, но и конкретной исторической ситуацией. Кризисное состояние мировоззрения Карамзина в 1794 г. и определило в конечном счете идейную позицию Путешественника, позволило писателю сформулировать свое отношение к революции вообще. «Переписка» Мелодора и Филалета является важным комментарием к «Письмам русского путешественника». Путешественник как бы соглашался с Филалетом, отрицавшим революционный путь к счастью человечества.

Путешественник, несомненно, выражал и точку зрения автора, что любые насильственные потрясения губительны для нации и народа. В данном случае Путешественник и Автор находят общий язык, поскольку исповедуют идеалы просветителей, утверждавших, что путь к справедливому общественному устройству лежит через просвещение, а не через революцию, через воспитание добродетельных граждан. Но за этим просветительским щитом стоит и убеждение дворянина. Автор – принципиальный противник революции, он не приемлет насильственного изменения существующего социального строя.

И все же позиция Карамзина и сложнее, и, главное, историчнее взгляда Путешественника. Потому-то писатель испытывал необходимость свободно высказаться, печатно изложить свое мнение не о якобинском этапе французской революции, но о революции вообще, о месте революции в движении народа по пути прогресса. Свое намерение он осуществил в 1797 г.,

¹⁵ Московские ведомости, 1790, № 89, 6 ноября.

¹⁶ Московский журнал, 1791, ч. 3, сентябрь, с. 298.

когда его понимание революции более или менее определилось, но не в русской печати, а за рубежом – в журнале «Spectateur du Nord» («Северный зритель»), выходившем на французском языке в Гамбурге. Карамзин опубликовал в «Зрителе» статью «Несколько слов о русской литературе», центральное место в которой занял своеобразный (скорректированный) пересказ «Писем русского путешественника». В этом пересказе и нашло свое выражение истинное мнение писателя, отсутствующее в русском издании «Писем».

Карамзинский подход к революции принципиально отличается от оценок Путешественника, который осуждает революцию. Карамзин пытается объяснить ее исторически. Путешественник убежден, что революция во Франции не является народной, что «нация» в ней «не участвует»: «едва ли сотая часть действует», и эти «действующие» – «бунтовщики», «дерзкие», которые «подняли секиру на священное дерево», говоря: «мы лучше сделаем». «Республиканцы с порочными сердцами» «готовят себе эшафот». Карамзин же утверждает, что французская революция является закономерным этапом исторического развития Франции.

И это не случайно. Именно в оценке французской революции, сформулированной свободно, без оглядки на царскую цензуру, сказалась самостоятельность Карамзина, а эта самостоятельность понимания великого европейского события была обусловлена историзмом мышления писателя. Вот почему необходимо остановиться на этой проблеме.

1770-е и 1780-е гг. ознаменовались важнейшими достижениями в понимании истории: началось формирование исторического мышления, человечество стало освобождаться от механистического взгляда на прошлое. Просветители решительно и бесповоротно ниспровергли господствовавшее несколько столетий теологическое объяснение истории и выдвинули идею прогресса. На этой-то основе и стал вырабатываться историзм – новая философия истории, утверждавшая идею развития, открывшая поступательный ход человечества по пути совершенствования, пытавшаяся понять закономерности этого развития, этого прогресса.

Выработка историзма, продолжавшаяся около полувека, захватила многие страны Европы – Англию, Францию, Германию. Оказалась втянутой в этот процесс и Россия.¹⁷ Пониманию закономерностей исторического развития способствовали и революции XVIII в. – американская, а позже французская. Книга Рейналя «Революция в Америке», «приобучавшая, – по словам одного современника, – народы размышлять о своих важнейших интересах», была важным звеном в становлении историзма; она сразу же была оценена и Радищевым, и Новиковым. Фундаментальный вклад в формирование историзма вносили труды крупного немецкого ученого, историка и филолога Гердера. В 1780-е годы с ними в России познакомились – сначала Радищев, а затем Карамзин. Еще до путешествия он прочел главные сочинения Гердера. Прибыв в Германию, Карамзин поспешил на свидание с Гердером. Личная беседа молодого русского писателя с прославленным европейским ученым, который вошел в историю науки под именем «отца историзма», помогла Карамзину усвоить новый взгляд на историю. Именно эти новые убеждения позволили ему лучше понять русскую историю и, главное, преодолеть отчаяние и скепсис, возникшие в 1793 г.

В статье «Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору» Филалет решительно опровергает скепсис друга, склонившегося под влиянием последних событий французской революции к пессимистической теории круговорота в истории итальянского мыслителя Вико. Вооруженный оптимистической философией истории Гердера, Карамзин заставляет Филалета опровергать концепцию Вико, выражать свои убеждения о том, что и после грозных событий французской революции действует объективный закон развития, закон совершенствования разума, культуры, государства: «веки служат разуму лестницею, по которой возвышается он к своему совершенству, иногда быстро, иногда медленно».

¹⁷ См. специально посвященный этой проблеме сборник статей: XVIII век. 13. Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII – начало XIX в. Л., 1981.

Идея развития, прогресса положена Карамзиным в основание оценки французской революции, данной в статье «Несколько слов о русской литературе». Революция, утверждал он, есть закономерный этап в историческом развитии Франции. «Итак, французская нация прошла все стадии цивилизации, чтобы достигнуть нынешнего состояния». Революция не есть бунт кучки «дерзких» и «хищных, как волки» республиканцев, как думает Путешественник, – она закономерное звено в цепи непрерывного развития нации. Оттого с революцией наступает новый этап в истории не только Франции, но и всего человечества. Карамзин писал: «Французская революция относится к таким явлениям, которые определяют судьбы человечества на долгий ряд веков. Начинается новая эпоха. Я это вижу, а Руссо предвидел».

Карамзин решительно выступает против бездумного отношения к величайшему событию современности, не соглашаясь с теми, кто ее восхваляет и кто спешит с ее осуждением. «Я слышу пышные речи за и против; но я не собираюсь подражать этим крикунам. Признаюсь, мои взгляды на сей предмет недостаточны зрелы. Одно событие сменяется другим, как волны в бурном море; а люди уже хотят рассматривать революцию как завершенную. Нет. Нет. Мы еще увидим множество поразительных явлений. Крайнее возбуждение умов говорит за то. Я опускаю занавес».

Подобное понимание французской революции наглядно и убедительно демонстрирует формировавшийся в эти годы просветительский историзм – его характер, уровень, способности познавать закономерности исторического развития.

Национальное своеобразие «Писем русского путешественника» проявляется прежде всего в историческом подходе автора к изображаемым событиям, в исторической оценке политики и культуры разных европейских стран, в принципе создания характера самого Путешественника. Произведения новой русской литературы XIX в. отличает именно историзм. Вот почему между ними и «Письмами» существует преемственная связь. Это отлично понимал Чернышевский: «Новая русская литература, – писал он, – началась „Письмами русского путешественника“». ¹⁸

9

В последние пять лет XVIII столетия Карамзин с поразительной активностью, выступая как прозаик и поэт, как критик и переводчик, как организатор новых литературных изданий, объединявших молодых поэтов, оказывал огромное влияние не только на русскую литературу, но и на русское общество.

После издания в 1794–1795 гг. двух томов альманаха «Аглая» Карамзин, видимо неожиданно для многих, согласился участвовать в газете «Московские ведомости». В объявлении о подписке на газету на 1795 г. сообщалось, что «принял на себя труд обрабатывания» нового отдела «Смесь» «почтенный и любезный издатель „Московского журнала“».

В первом же номере «Московских ведомостей» Карамзин сообщил программу «Смеси». Она поражает своей энциклопедичностью: тут заметки по истории, философии и литературе – прошлых веков и современной («О новых английских и немецких книгах для любителей иностранных литератур»), интересные эпизоды из жизни великих философов и писателей, «примечания достойные мысли древних и новых философов, цветы разума и чувства», небольшие художественные пьесы и отрывки, подбор пословиц разных народов.

Большая часть опубликованных заметок – переводы, взятые из европейских газет, журналов и книг. Печатал Карамзин и собственные небольшие художественные этюды и серьезные статьи. В целом весь отдел, несомненно, отмечен печатью оригинальности. Личное начало проявляется и в отборе заметок и статей, и в стиле переводов (а чаще – пересказов, или, как

¹⁸ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. 4. М., 1948, с. 222.

говорили в XVIII в., «сокращений»), и в первую очередь, естественно, в собственных статьях и в тех примечаниях, которые он делал к некоторым переводам.

Весь обширный материал «Смеси» не только блистательно характеризует глубокую образованность Карамзина, но прежде всего аналитический ум писателя, его пытливую, ищущую мысль, самостоятельность суждений по проблемам философии, нравственности, истории и литературы. Русская мысль конца XVIII в. представлена здесь с завидной полнотой и ясностью.

В настоящей вступительной статье нет возможности подробно проанализировать весь обширный, идейно богатый материал «Смеси». Это предмет особого исследования. Оно необходимо тем более, что «Смесь» никогда не подвергалась специальному изучению. Обращу внимание на некоторые темы, важные для понимания позиции Карамзина в эти годы.

Об интересе писателя к Шиллеру. Карамзин и Шиллер решали важнейшие общественные и нравственные проблемы, встававшие перед человечеством после французской революции. Европейский масштаб идейных исканий и художественного творчества русского писателя при решении темы – Карамзин и Шиллер – предстает в своей исторической конкретности.

Искания Карамзина во всей сложности запечатлелись, в частности, в статье «Рассуждение философа, историка и гражданина». Она написана как диалог – излюбленная форма Карамзина. Избрание ее продиктовано стремлением не утверждать новые апофеги (в мудрости истин, провозглашенных философами, он разочаровался), но выразить, запечатлеть ищущую, тревожную мысль. В диалоге сталкивались разные мнения: в их единоборстве, в тенденции утверждать правоту читатель найдет богатую пищу для размышлений, для собственных выводов. Карамзин не поучал, а приучал мыслить, задумываться над важнейшими вопросами общественной и исторической жизни, он приобщал читателя к собственным исканиям, убеждал его не доверяться скороспелым решениям, не спешить принимать модные концепции. Карамзин был уверен, что искомый ответ не может быть однозначным, в нем должна запечатлеться реальная сложность современной жизни и современной мысли.

В беседе три участника. Позиция каждого индивидуальна, в ней есть своя правда – к ней и призывает Карамзин прислушаться. Поражает объективность подхода писателя к разным точкам зрения.

Убеждения философа умозрительны. Субъективные выводы предлагаются человечеству как своеобразные рецепты, призванные его осчастливить. Историк отвергает суждения философа: «Гордые мудрецы! вы хотите в самом себе найти путь к истине? Нет, нет! не там его искать должно!» В то же время в воззрениях философа есть мудрость – он высоко ценит разум, верит в его способность помогать человеку находить пути к счастью.

Убеждения историка принципиально противостоят взглядам философа. И это не случайно – они выражают новый этап развития человеческой мысли. До французской революции общественное мнение и программу общественных преобразований определяли философы, мыслители, чьи воззрения и выразили идеологию Просвещения, подготовившую революцию. Проверки революцией философские концепции не выдержали. Наступившая эпоха разочарования не повергла человечество в отчаяние, потому что на общественную арену выступила новая философия истории – историзм. Карамзин оказался в числе тех, кто усвоил эту философию. Вот почему в диалоге точка зрения историка наиболее ему близка. Историк категорически заявляет, что истину может открыть только история.

Карамзин, как и историк, верит в опыт истории. Не умозрительные построения философов, но опыт истории есть истинный поводьяр человечества. Этот опыт надо изучать. Занятая Карамзиным в этой статье позиция объясняет органическое его движение к изучению истории России.

У гражданина свое понимание обязанностей. Ему чужда философия, его не волнует история – он практик, твердо верующий, что призван в своем земном существовании исполнять возложенный на него долг: «Служить отечеству любезному: быть нежным сыном, супругом,

отцом; хранить, приумножать старанием и трудами наследие родительское есть священный долг моего сердца, есть слава моя и добродетель». Дело философов и историков угадывать и объяснять пути развития человечества и отечества. Долг гражданина – «быть полезным», работать, служить отечеству и быть хорошим семьянином.

Позиция гражданина – эмпирична, но она есть реальность, подтвержденная опытом истории, она обуславливает поведение миллионов, на работе, труде которых зиждется вся жизнь общества, могущество державы. И в этом ее сила, ее правота.

В 1796 г. Карамзин отказался от сотрудничества в «Московских ведомостях». Он решил издавать свой альманах «Аониды», в котором собирался печатать новые лучшие стихи русских поэтов. Тем самым Карамзин – редактор альманаха вмешивался в литературный процесс: он объединял усилия поэтов-единомышленников, своим отбором стихотворений не только воспитывал вкус, но утверждал и определенные эстетические нормы быстро развивавшегося русского сентиментализма. Этому способствовали и некоторые его критические статьи. Всего с 1796 по 1799 г. вышло три тома «Аонид». Параллельно Карамзин продолжал заниматься переводами, которые публиковал в специальном издании «Пантеон иностранной словесности» (три тома вышли в 1798 г.).

Преодоление идейного кризиса закономерно привело к изменению эстетических убеждений. Карамзин преодолевает субъективизм. Но это преодоление не означало возвращения на старые позиции времени «Московского журнала». Теперь он смело развивает эстетику сентиментализма, расширяет его возможности в познании и воспроизведении жизни, придает ему черты, обусловленные новой эпохой, опираясь на собственный десятилетний творческий опыт.

Русский сентиментализм, формируемый Карамзиным, утверждал историческую обусловленность человека. Ему свойственно понимание глубокой связи человека с окружающим его миром. В программном предисловии ко второму тому альманаха «Аониды» Карамзин не только дал критическую оценку поэтическим произведениям, тяготеющим к классицизму, но и показал, как отсутствие естественности, верности натуре делает их «надутыми» и холодными. Карамзин писал: «...истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону». Поэт должен уметь показывать «оттенки, которые укрываются от глаз других людей», помня, что «один бомбаст, один гром слов только что оглушает нас и до сердца не доходит», – напротив, «умный стих врезывается в память».

Карамзин уже не ограничивается критикой классицизма, как это было раньше, но подвергает осуждению и писателей-сентименталистов, то есть своих неопытных последователей, настойчиво насаждавших в литературе чувствительность. Для него чувствительность, подчеркнутая сентиментальность так же неестественны и далеки от природы, как и риторика и «бомбаст» поэзии классицизма. «Не надобно также беспрерывно говорить о слезах, – пишет он, – прибирая к ним разные эпитеты, называя их блестящими и бриллиантовыми, – сей способ трогать очень ненадежен». Уточняя свою позицию, Карамзин формулирует требование психологической правды изображения – поэт должен уметь писать не о чувствах человека вообще, но о чувствах данной личности, о ее конкретных переживаниях, вызванных определенными обстоятельствами. Опыт Шекспира помогал Карамзину в его стремлении правдиво раскрыть психологию человека.

Сентиментализм Карамзина активно способствовал сближению литературы с действительностью. Карамзин опирался на опыт европейского сентиментализма и обогащал его историзмом, он осваивал художественные открытия Шекспира и своих современников – Руссо, Стерна и Лессинга, – но никогда не был подражателем. Творческая независимость, художественная самостоятельность и оригинальность отличали Карамзина. Именно потому, при всем его европеизме, он был глубоко русским писателем. Карамзин выразил и трагизм жизни русского человека, и его исторический оптимизм. Он закономерно пришел к теме художественного воплощения истории России; он способствовал развитию русской литературы не только

как художник, но и как критик, издатель нескольких журналов и альманахов, выступая организатором литературного процесса, наконец, как реформатор русского литературного языка. Причем в своей реформе он опирался на национальную традицию, на опыт и достижения Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизина, Г. Р. Державина.

В повестях и «Письмах русского путешественника» он отказался от тяжелой книжной конструкции предложения с глаголом в конце. Используя нормы разговорной речи, Карамзин создал легкую, изящную фразу, передающую эмоциональную выразительность слова. В поэзии он создал особый слог, помогая тем самым рождению новых художественных взглядов. Переводя «все темное в сердцах на ясный нам язык», найдя «слова для тонких чувств», Карамзин создавал лирику глубоко интимного характера, пробивал дорогу в будущее, на которую еще при его жизни встанут Жуковский, Батюшков, юный Пушкин.

Карамзин открывал новые семантические оттенки в старых, часто книжно-славянских словах, обогащая, по существу, русский язык новыми идеями и практической возможностью их выразить («потребность», «развитие», «образ» – применительно к искусству и т. п.), широко применял лексические и фразеологические кальки (с французского), большинство из которых прочно были усвоены русским языком. Новые понятия и представления получили обозначение в новых словосочетаниях; создавал писатель и новые слова, которые навсегда вошли в русский язык («промышленность», «общественность», «общепользительный», «человечный» и многие другие).

Одновременно Карамзин вел борьбу с употреблением устаревших церковнославянизмов, слов и оборотов старой книжности. «Новый слог», создание которого современники ставили в заслугу Карамзину, широко применялся им в «средних» жанрах – повестях, письмах (частных и литературных), критических статьях и в лирике. Белинский, отмечая заслуги Карамзина, писал, что он «преобразовал русский язык, совлекши его с ходуль латинской конструкции и тяжелой славянины и приблизив к живой, естественной, разговорной русской речи».¹⁹ Историческая ограниченность реформы сказалась в том, что Карамзин вводил в литературный язык преимущественно слова образованного дворянского общества. Отсюда – известное засорение речи иностранными словами и лексикой аристократических кругов, деление слов на «благородные» и «низкие» (типа «мужики», «парень» и т. д.), изгонявшиеся из литературного обращения, создание по западноевропейскому образцу оборотов речи и выражений, которые вели к вычурности слога. При переиздании «Писем русского путешественника» в начале XIX в. Карамзин отказался от многочисленных галлицизмов и заменил иностранные слова русскими. Позже Пушкин эту «манерность, робость и бледность» стиля Карамзина называл «вредными последствиями» подражательности и боязни обогащать русский язык за счет народных источников.

10

Новый расцвет литературной деятельности Карамзина начинается с 1802 г., когда он приступил к изданию журнала «Вестник Европы». Карамзин был уже известным и авторитетным писателем. За протекшее десятилетие он вырос как мыслитель и как художник. Правительственный либерализм первых лет царствования Александра I, цензурные послабления позволили ему высказываться в новом журнале более свободно и по более широкому кругу вопросов. К сотрудничеству он привлек Державина, Дмитриева и своих молодых последователей – Жуковского (он опубликовал в журнале элегию «Сельское кладбище») и В. Измайлова.

Журнал, составленный из трех отделов – литературы, критики и политики, быстро завоевал широкую популярность. Выдвигаемые Карамзиным вопросы политики, создаваемые

¹⁹ Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т., т. 6. с. 95.

художественные образы, широкая программа развития национально-самобытной литературы, изложенная в критических статьях, оказывали активное и плодотворное влияние на новое поколение молодых писателей. Своей литературной и журнальной деятельностью Карамзин энергично вмешивался в литературный процесс начала XIX в.

Карамзин-публицист по-прежнему считал, что «дворянство есть душа и благородный образ всего народа». Но Карамзин-художник видел, как в действительности дворяне далеки от созданного им идеала. В новых повестях его появились сатирические краски («Моя исповедь»), ирония (неоконченный роман «Рыцарь нашего времени») – писатель с одобрением относился теперь к сатирическому направлению русской литературы XVIII в., осваивал ее опыт. «Рыцарь нашего времени» интересен и как первая в русской литературе попытка запечатлеть характер героя своего времени.

Наибольший успех выпал на долю самого крупного последнего прозаического произведения писателя – повести «Марфа-посадница», в которой, обращаясь к русской истории, он создал сильный характер русской женщины, не желавшей покориться деспотизму московского царя Ивана III, уничтожившего вольность Новгорода. Карамзин считал исторически неизбежным уничтожение Новгородской республики и подчинение ее русскому самодержавию. В то же время женщина, готовая умереть за свободу, вызывает у писателя восхищение.

В «Вестнике Европы» Карамзин отказался от рецензий, которые занимали большое место в «Московском журнале», и стал писать серьезные статьи, посвященные насущным задачам литературы, – о роли и месте литературы в общественной жизни, о причинах, замедляющих ее успехи и появление новых авторов, о том, что определяет ее развитие по пути национальной самобытности. Литература, утверждал теперь Карамзин, «должна иметь влияние на нравы и счастье», каждый писатель обязан «помогать нравственному образованию такого великого и сильного народа, как российский; развивать идеи, указывать новые красоты в жизни, питать душу моральными удовольствиями и сливать ее в сладких чувствах со благом других людей».

В этом нравственном образовании главная роль принадлежит патриотическому воспитанию. «Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях». Патриотов немало на Руси, но патриотизм свойствен не всем; поскольку он «требует рассуждения», постольку «не все люди имеют его». Задача литературы и состоит в том, чтобы воспитать чувство патриотической любви к отечеству у всех граждан. Нельзя забывать, что в понятие патриотизма Карамзин включал и любовь к монарху. Но в то же время к проповеди монархизма патриотизм Карамзина не сводился. Писатель требовал, чтобы литература воспитывала патриотизм, ибо русские люди еще плохо знают себя, свой национальный характер. «Мне кажется, – продолжал Карамзин, – что мы излишне *смирены* в мыслях о народном своем достоинстве, – а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут». Чем сильнее любовь к отечеству, тем яснее путь гражданина к собственному счастью. Отвергнув культ эгоистической уединенной жизни, Карамзин показывает, что только на пути исполнения общественных должностей человек приобретает истинное счастье. «Мы должны любить пользу отечества... любовь к собственному благу производит в нас любовь к отечеству, а личное самолюбие – гордость народную, которая служит опорой патриотизма». Вот почему и «таланту русскому всего ближе и любезнее прославлять русское». «Должно приучать россиян к уважению собственного» – такую задачу может выполнить только национально-самобытная литература.

Как же обрести эту самобытность? Карамзин пишет статью «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художества». Эта статья – своеобразный манифест нового Карамзина. Она открывает последний, самый плодотворный период творчества писателя, она определяет содержание и стиль его главной книги – «История государства Российского». Естественно поэтому, что в ней писатель и историк решительно пересматривает прежние свои убеждения. Патриотическое воспитание лучше всего может быть осуществлено

на конкретных примерах, история России дает великолепный и бесценный материал художнику и писателю. Предметом изображения станут реальная, объективная, исторически понятая действительность, а не «китайские тени собственного воображения», героями – исторически конкретные русские люди, причем их характеры должны раскрываться в патриотических деяниях. Писатель обязан изображать «героические характеры», которые он найдет в русской истории. Наряду с описанием героических мужских характеров Карамзин высказывает пожелание создать «галерею россиянок, знаменитых в истории». Одну из таких россиянок – Марфу-посадницу – он сделал героиней одноименной повести.

Теперь принципиально по-новому определяется понимание общественной роли писателя. Писатель – это уже не «лжец», умеющий «вымышлять приятно», заставляющий читателя забываться в «чародействе красных вымыслов». Художник, ваятель или писатель, провозглашает теперь Карамзин, – это «орган патриотизма». Основной деятельностью писателя должно быть убеждение, что «труд его не бесполезен для отечества», что он как автор помогает согражданам «лучше мыслить и говорить».

Новые задачи и новые темы, которые выдвигал перед писателями Карамзин, требовали и нового языка. Он призывает авторов писать «простыми русскими словами», утверждая, что русский язык по природе своей обладает богатейшими возможностями, которые позволяют автору выразить любые мысли, идеи, чувства: «Оставим нашим любезным светским дамам утверждать, что русский язык груб и неприятен». «Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности». В 1818 г. Карамзин в связи с принятием его в члены Российской Академии произнес речь на торжественном ее заседании; эта речь явилась его последним большим критическим выступлением. В речи много официального, обязательного, даже парадного. Но есть в ней и собственно карамзинские мысли о задачах критики в новых условиях и о некоторых итогах развития литературы. В заключение Карамзин говорил об особенных чертах русского национального характера, который складывался в течение веков, и о необходимости изображения этого характера писателями.

Оценивая русскую литературу за полтора десятилетия XIX в., Карамзин оптимистически смотрит на ее дальнейшее движение по пути народности. «Великий Петр, изменив многое, не изменил всего коренного русского». Русская словесность, «будучи зеркалом ума и чувства народного», также должна иметь в себе «нечто особенное, незаметное в одном авторе, но явное во многих... Есть звуки сердца русского, есть игра ума русского в произведениях нашей словесности, которая еще более отличится ими в своих дальнейших успехах».

11

В политических статьях, написанных в первые два десятилетия XIX в., Карамзин обращался с рекомендациями правительству, пропагандировал идею всеобщего, хотя и не одинакового для разных сословий, просвещения. В работе «Историческое похвальное слово Екатерине II» (1802) он изложил как бы программу царствования Александра I. Опираясь на книгу Монтескье «Дух законов», которую использовала Екатерина II в своем «Наказе», Карамзин настаивал на осуществлении политики просвещенного абсолютизма.

Так появилась записка «О древней и новой России» (вручена императору в марте 1811 г.) – сложный, противоречивый, острополитический документ. В записке две главные темы: доказательство (в который уже раз!), что «самодержавие есть палладиум России», что «для твердости бытия государственного» лучше сохранять крепостное право, пока нравственное воспитание и просвещение не подготовит крепостных к свободе. Новым в записке было критическое отношение к правлению Александра I! – впервые гнев сделал перо Карамзина злым и беспощадным. Опираясь на факты, он рисует безрадостную картину внешнего политического

положения России; подробно анализирует беспомощные попытки правительства решить важные экономические проблемы. Карамзин резко осуждает те реформы, «коих благотворность остается доселе сомнительною».

Записка – документ, рассчитанный на одного читателя – Александра I. Именно ему Карамзин и сказал, что правление его не принесло обещанного блага России, но еще более укоренило страшное зло, породило безнаказанность действия чиновников-казнокрадов. Эти страницы нельзя читать без волнения. Записка произвела большое впечатление на Пушкина (он познакомился с нею в конце 1830-х гг.). Сохранился его отзыв: «Карамзин написал свои мысли о *Древней и Новой России*, со всею искренностью прекрасной души, со всею смелостью убеждения сильного и глубокого»; «Когда-нибудь потомство оценит... благородство патриота»...

В записке зло охарактеризованы министры, сказана правда о самом царе, который оказывается, по Карамзину, неопытным, мало смыслящим во внешней и внутренней политике человеком, любителем внешних форм учреждений и занятым не благом России, а желанием «пускать пыль в глаза». Бедой Карамзина было то, что он не мог извлечь из реального политического опыта нужный урок для себя. Верный своей политической концепции просвещенного абсолютизма, он вновь обращался к Александру, желая внушить ему мысль, что тот должен стать самодержцем по образцу и подобию монарха, начертанному Монтескье в «Духе законов». Дворянская ограниченность удерживала Карамзина на этих позициях и жестоко мстила ему, отбрасывая его все дальше в сторону от громко заявлявшей о себе дворянской революционности.

Карамзинская «Записка» – это острополитический публицистический документ додекабристской эпохи, начала 10-х годов XIX в. Резкая и жесткая критика александровского правления в нем причудливо сочеталась с рекомендациями укрепления самодержавной власти. В то же время должно признать, что это, пожалуй, одно из самых неизученных произведений русской литературы. Оттого Карамзина часто обвиняют в разных грехах. Среди них находим мы и обвинение писателя в том, что он критически относится к Петру I и его реформам. В этом стоит разобраться.

Карамзин был историком и потому отлично понимал историческую закономерность важнейших реформ и действий царя-преобразователя. Понимал и приветствовал их: Петр I «исправил, умножил войско, одержал блестящую победу над врагами искусными и мужественными; завоевал Ливонию, сотворил флот, основал гавани, издал многие законы мудрые, привел в лучшее состояние торговлю, рудокопни, завел мануфактуры, училища, Академию, наконец, поставил Россию на знаменитую степень в политической системе Европы. Говоря о превосходных дарованиях, забудем ли почти важнейшее для самодержцев дарование: употреблять людей по способностям?» Именно этому качеству Петра I Россия обязана появлению на политической арене талантливых полководцев, министров, заводчиков, деятелей культуры, чьи таланты и дарования были «угаданы» царем.

Но самое главное в этой оценке деятельности Петра I – глубоко историческое понимание закономерности появления Петра I, его реформ, его преобразований. Карамзин, пожалуй, впервые формулирует мысль о преемственности исторического развития России. Он писал: Петр сделал много для величия России, он есть «творец нашего величия», но это оказалось возможным оттого, что прошлые эпохи подготовили его преобразования. «Петр нашел средства делать великое, – князья московские приготавливали оное. И, славя славное в сем монархе, оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования?»

Карамзин писал не панегирик, но исторически обусловленные советы Александру. Это первый и беспрецедентный случай – писатель, исповедующий просветительскую концепцию абсолютизма, советы дает, исходя не из посылок разума, но опираясь на опыт истории. Вот почему записку «О древней и новой России» должно рассматривать как первый политический документ, написанный с позиций историзма.

В чем же Карамзин видел «вредную сторону его (Петра I. – Г. М.) блестящего царствования»? Главный вред – игнорирование опыта истории России, неуважение к нравам и обычаям русского народа. Он писал: «Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им (россиянам. – Г. М.) уставы есть насилие, незаконное и для монарха самодержавного». Игнорирование объясняется самовластием – его-то и не принимает Карамзин. Результаты самовластия печальны для отечества: «Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петр».

Записка вызвала раздражение царя. Пять лет своей холодностью Александр подчеркивал, что он не доволен образом мыслей историка. Только после завершения Карамзиным работы над первыми восемью томами «Истории государства Российского» в 1816 г. Александр сделал вид, что забыл недовольство запиской. Карамзин же с поразительной настойчивостью использовал свое положение для того, чтобы учить царствовать Александра I. В 1819 г. он написал новую записку – «Мнение русского гражданина», – в которой писатель обвиняет Александра I в нарушении долга перед отечеством и народом, указывая, что его действия начинают носить характер «самовластного произвола». «Мнение» было прочитано Александру самим Карамзиным. Завязался долгий и трудный разговор. Александр, видимо, был крайне возмущен историком, а тот, уже более не сдерживая себя, с гордостью заявил ему: «Государь! У вас много самолюбия.

Я не боюсь ничего. Мы все равны перед богом. Что говорю я вам, то сказал бы я вашему отцу, государь! Я презираю либералов нынешних, я люблю только ту свободу, которую никакой тиран не может у меня отнять... Я не прошу более вашего благоволения, я говорю с вами, может быть, в последний раз».²⁰

Придя домой из дворца, Карамзин сделал приписку к «Мнению» – «Для потомства», где рассказал об этой встрече, готовясь, видимо, к любым неожиданностям.

18 декабря 1825 г., через четыре дня после восстания на Сенатской площади, Карамзин написал «Новое прибавление» к «Мнению», где сообщал, что после беседы с Александром в 1819 г. он «не лишился его благоволения», чем снова счел нужным воспользоваться. Перед лицом потомства Карамзин свидетельствовал: «Я не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой Г (урьевской) системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о министерстве просвещения, или затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные».²¹

До конца дней своих Карамзин мужественно учил царя, давал советы, выступал ходатаем за дела отечества – и все безрезультатно! Александр, заявляет Карамзин, слушал его советы, «хотя им большею частию и не следовал». Писатель-историк и гражданин, Карамзин добивался доверия и милости царя, одушевляемый «любовью к человечеству», но «эта милость и доверенность остались бесплодны для любезного отечества».

Исторически справедливая оценка места и роли Карамзина в литературном движении первой четверти XIX в. возможна только при понимании сложности его идеологической позиции, противоречий между субъективными намерениями писателя и объективным звучанием его произведений. Во многом поучительно для нас в этом отношении восприятие Карамзина Герценом. Карамзин для него – писатель, который «сделал литературу гуманною», в его облике он чувствовал «нечто независимое и чистое». Его «История государства Российского» – «великое творение», она «весьма содействовала обращению умов к изучению отечества».

²⁰ Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина, ч. I. СПб., 1862, с. 9. (Слова эти были сказаны по-французски.)

²¹ Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина, ч. I, с. 11–12.

Но, с другой стороны, «можно было заранее предсказать, что из-за своей сентиментальности Карамзин попадет в императорские сети, как попался позже поэт Жуковский». Возмущаясь деспотизмом, стремясь облегчить тяготы народа, постоянно поучая царя, он осудил декабристов, оставаясь верным идее, что только самодержавная власть принесет благо России. А «идея великого самодержавия, – с гневом писал Герцен, – это идея великого порабощения».²²

12

Несомненно, в первую четверть XIX в. самым крупным и программным документом формировавшегося в России историзма явилась «История государства Российского» Карамзина.

Работа над «Историей» длилась более двух десятилетий (1804–1826). Усвоенные и выработанные в 1790-е гг. принципы историзма получили при написании «Истории» дальнейшее развитие. В 1818 г. русский читатель получил первые восемь томов «Истории». К тому же времени вышли из печати шесть романов В. Скотта. В этом, в сущности случайном совпадении, проявлялась некая закономерность. Оба писателя обратились к истории, уже опираясь на выработанные их предшественниками идеи новой философии истории, и сами в процессе художественного исследования прошлого своей страны сумели двинуть вперед науку истории. Отсюда огромное влияние В. Скотта и Н. Карамзина на современную им литературу и науку – их сочинения отвечали требованиям времени. В частности, на опыт В. Скотта опирались французские историки, выступившие со своими трудами в конце 1820-х гг.; на опыт Н. Карамзина опирался Пушкин уже в период южной ссылки и особенно при написании трагедии «Борис Годунов» в 1825 г.²³

«История» построена на огромном фактическом материале, собиравшемся писателем в течение многих лет. Среди первоклассных по своей значимости документов на первое место должно поставить летописи. В тексте «Истории» использованы не только ценнейшие сведения и факты летописей – Карамзин включил в свое сочинение и обширные цитаты или пересказы входивших в летописи повестей, преданий, легенд. Для Карамзина летопись ценна прежде всего тем, что она открывала отношение к фактам, событиям и легендам современника их – летописца.

Потому важнейшим принципом «Истории» и стало стремление ее автора «смотреть в тусклое зеркало древней летописи», следуя за ней в изложении и оценке событий, не украшая вымыслом или произвольной догадкой свой рассказ. Постигание точки зрения летописца, его «простодушия» и суда над современниками, в которых запечатлелся «дух времени», было задачей Карамзина-художника. Карамзин-историк выступал с комментарием этой летописной версии событий.

Монархическая концепция «Истории» (хотя писатель опирался при этом на точку зрения Монтескье и Руссо, согласно которой монархическое правление «наиболее пригодно» «для больших государств», а республиканское – «для малых») закономерно вызвала возражение декабристов. В годы, когда дворянские революционеры разворачивали борьбу с самодержавием, всякая его защита, хотя бы и на материале истории, объективно укрепляла реакцию. В то же время видеть в «Истории» только защиту самодержавия и осуждать ее на этом основании было бы неисторично. В сочинении Карамзина заложено глубокое противоречие – умозрительной концепции писателя противопоставлены многочисленные факты, которые опровергали идею

²² Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 7, с. 190–192.

²³ Подробнее об историзме «Истории государства Российского» см. в главе: «Карамзин и Просвещение. Формирование исторического мышления. „История государства Российского“. Карамзин и Вальтер Скотт». – В кн.: Купрянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы. Очерки и характеристики. Л., 1976, с. 169–195.

благодетельности самодержавия для России и ее народа. И Карамзин не скрывал этих фактов, но честно приводил и объективно оценивал их. Привнесенная в сочинение идея не подтверждалась материалом истории.

Противоречие это обернулось трагедией Карамзина, политическая идея заводила в тупик. И несмотря на это, Карамзин не изменил своему методу выяснения истины, открывавшейся в процессе художественного исследования прошлого, оставался верен ей, даже если она противоречила его политическому идеалу. Это было победой Карамзина художника. Именно потому Пушкин и назвал «Историю» подвигом честного человека.

Пушкин отлично понимал противоречивость сочинения Карамзина. Отвечая декабристам на их критику «Истории», он писал: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения».²⁴ Слова Пушкина следует понимать еще и в том смысле, что суждения Карамзина о самодержавии не покрывают всего огромного содержания «Истории», что многотомный труд нельзя сводить к доказательству тощего политического тезиса, что было в этом труде нечто такое, за что можно было ее автора назвать «великим писателем», за что следовало ему сказать спасибо.

В 1821 г. вышел из печати девятый том, посвященный царствованию Ивана Грозного, в 1824-м – десятый и одиннадцатый тома, рассказывавшие о Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове. Смерть Карамзина в 1826 г. оборвала работу над двенадцатым томом «Истории», в котором ему предстояло описать борьбу русского народа под руководством Минина и Пожарского за освобождение Русского государства от польско-шляхетской интервенции. Рукопись обрывалась на фразе: «Орешек не сдавался...»

Сохраняя свои идейные позиции, историк не остался глух к общественным событиям, предшествовавшим восстанию декабристов, и изменил акценты в последних томах «Истории» – в центре внимания оказались самодержцы, ставшие на путь деспотизма. Девятый том, где резко осуждалась тирания Грозного, имел особенно большой успех. К. Рылеев использовал его материал в своих «Думах».

Историзм карамзинского сочинения проявлялся прежде всего в рассмотрении истории Русской земли как процесса становления, хотя и осложненного тягчайшими, длительными испытаниями и бедствиями, единого мощного государства, занявшего свое место в ряду других государств мира. Эта идея красной нитью проходит через все летописи, и ее воспринял Карамзин, она пронизывает все его повествование. Но летописи открыли ему еще одну «тайну» истории – меняющийся из века в век тип сознания русских людей, то, что было названо в «Истории» «духом времени».

Историзм проявил себя и в раскрытии сознания летописцев. И хотя у Карамзина нет ни одного характера летописца, все же Пушкин, создавший в трагедии «Борис Годунов» тип летописца – Пимена, счел нужным указать, что этим он обязан Карамзину.

Художественное начало «Истории» позволило раскрыть процесс формирования национального характера. Главная тема летописей – судьба Русской земли и непрерывная борьба за единство – сосредоточила внимание летописца на роли национального фактора, таких самобытных черт русского самосознания, как патриотическая гражданственность, понимание героического, забота о благе родной земли, способность выходить «из домашней неизвестности», из сферы частных, семейных интересов «на театр народный». Однако так же, как и в летописях, в сочинении Карамзина оказался обойденным социальный фактор вообще и его влияние на выработку национального самосознания в частности.

Проблема социальности и социальной обусловленности человека и его сознания встанет в порядок дня позже – в 1830-е гг. Но, не сосредоточиваясь на выяснении социальных

²⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. 8. Л.—М., 1949, с. 67–68.

отношений Древней Руси, не понимая их роли, Карамзин все же считал необходимым проследить влияние на национальную жизнь политических режимов прошлого, как они складывались в формы княжеского и царского государственного правления. Проблема взаимоотношений народа и власти, встававшая перед Карамзиным в связи с его монархической концепцией, оборачивалась новым аспектом: что отличает русский народ – любовь к установленному князем или царем порядку или склонность к мятежам?

Еще до написания «Истории» Карамзин эту проблему решал с позиций не истины, но «вымысла», догадки, которые оказывались подчиненными идее «благодетельности самодержавия» для России и ее народа. И, опираясь на вымысел, Карамзин отметил, что русский народ, «кажется, всегда чувствовал необходимость повиновения и ту истину, что своевольная управа граждан есть во всяком случае великое бедствие для государства».²⁵

Изучение истории по документам, по летописям опрокинуло этот «вымысел». Истина оказалась иной – не «чувствовал всегда» народ русский необходимость повиновения, мятежи народные оказались важным фактором русской национальной жизни на протяжении веков.

Столкнувшись с мятежами как реальным фактом, Карамзин принужден был выяснить их причину. Знаменателен принципиальный вывод, сделанный Карамзиным, – русский бунт не есть проявление дикости «непросвещенного» народа или результат происков плутов и мошенников, как то постоянно утверждала дворянская историография. Мятежи, по Карамзину, были следствием антинародной политики князей, народ всегда был вынуждаем на бунт несправедливыми действиями властей.

Вот характерная для Карамзина констатация фактов: «Народ стонал», «Сильные утесняли слабых, наместники и тиуны грабили Россию, как половцы». Опираясь на мнение летописца, Карамзин писал: «Народ за хищность судей и чиновников ненавидит и царя самого добродушного и милосерднейшего». Спасая свою любимую идею, отступая от истины, Карамзин объясняет, что в возникновении мятежей виновато не самодержавие, а те монархи, которые отступали от принципов самодержавия. («Предмет самодержавия есть не то, чтобы отнять у людей естественную свободу, но чтобы действия их направить к величайшему благу».²⁶) Вина с плеч самодержавия перекладывалась на плечи отдельных личностей – тиранов, оказавшихся на царском престоле: такие монархи, как Грозный, Годунов – тираны и преступники, – подлежат суду историка, но не народа. Карамзин лишает народ права на бунт. Как же тогда объяснить действительно происходившие бунты против самодержцев?

Карамзин предлагает свое толкование фактов истории. Народный бунт, мятеж объявляется проявлением суда небесного – это кара божественная за совершенные царями-тиранами преступления. Тем самым с народа снимается «вина» за мятеж – он оказывается всего лишь орудием Провидения. В других случаях, когда народ не восстает против самодержца, но терпит бедствия, чинимые властью, Карамзин заставляет его «безмолвствовать». Эти грозные и многозначительные слова, исполненные не только укоризны, но и немой угрозы, довольно часто появляются на страницах последних томов «Истории».

По Карамзину, добродетель народа вовсе не противоречит народной «любви к мятежам». Он мог «безмолвствовать» во время правления тиранов, он мог поднять восстание и «ниспровергнуть» государя, а в годину испытаний спасти отечество. Свой вывод Карамзин сформулировал довольно откровенно: «Сей народ, безмолвный в грозах самодержавия наследственного, уже играл царями, узнав, что они могут быть избираемы и низвергаемы его властью».²⁷

Так Карамзин оказывался способным художественно показать, что коренные черты народного характера раскрываются даже в «неистовстве бунта», отвергая тем самым концеп-

²⁵ Вестник Европы, 1803, № 18, с. 120.

²⁶ Карамзин Н. М. Соч., т. 8. М., 1820, с. 51.

²⁷ История государства Российского, т. 12. СПб., 1829, с. 94.

цию русского национального характера, выдвинутую Екатериной II («образцовое послушание»).

Карамзин в своей «Истории» открыл громадный художественный мир древних летописей. Писатель прорубил окно в прошлое, он действительно, как Колумб, нашел древнюю Россию, связав прошлое с настоящим. Прошлое, удаленное от современности на много веков, представало не как раскрашенная вымыслом старина, но как действительный мир, многие тайны которого раскрыты как истины, помогавшие не только пониманию отечества, но и служившие современности. Понятие русского национального самосознания наполнилось конкретным содержанием.

Несмотря на необычность жанра, «История государства Российского» есть выдающееся произведение по русской истории, высшее художественное достижение Карамзина, его главная книга. Она на историческом материале учила понимать, видеть и глубоко ценить поэзию действительной жизни. Героями Карамзина стали родина, нация, ее гордая, исполненная славы и великих испытаний судьба, нравственный мир русского человека. Карамзин с воодушевлением прославлял русское, «приучал россиян к уважению собственного», но ему был чужд национализм: «я не всегда мог скрыть любовь к отечеству... Но не обращал пороков в добродетели; не говорил, что русские лучше французов, немцев, но люблю их более: один язык, одни обыкновения, одна участь...»²⁸

Политические убеждения писателя обусловили его сосредоточенность на изображении князей, царей, государства. Но исследование истины с нарастающей силой приковывало его внимание к народу. При описании некоторых эпох под пером Карамзина главным героем становился простой люд. Именно поэтому он обращает особое внимание на такие события, как «восстание россиян при Донском, падение Новгорода, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время междуцарствия».

Громадный успех «Истории», ее долгое влияние на русских писателей объясняется еще и глубоким патриотизмом Карамзина, проявлением личного лирического отношения автора к описываемым им событиям. Заслуживает внимания высказанное в 1824 г. на обеде у графа Румянцева суждение о том, как должно писать историю и чем должен руководствоваться автор труда по национальной истории. На обеде присутствовал немецкий путешественник и сочинитель Буссе, который и записал это мнение Карамзина. Л. Н. Майков опубликовал его в русском переводе:

«Мой способ писать возник из того представления, которое я имею о приемах историка. Из всех литературных произведений народа изложение истории его судьбы более всего должно вызывать его интерес и менее всего может иметь общий, не строго национальный характер. Историк должен ликовать и горевать со своим народом. Он не должен, руководимый пристрастием, исказить факты, преувеличивать счастье или умалять в своем изложении бедствия; он должен быть прежде всего правдив; но может, даже должен все неприятное, все позорное в истории своего народа передавать с грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о цветущем состоянии, говорить с радостью и энтузиазмом. Только таким образом может он сделаться национальным бытописателем, чем, прежде всего, должен быть историк».²⁹ Карамзин был таким бытописателем.

При работе над трагедией «Борис Годунов» (1825) Пушкин, понявший глубокий и мудрый смысл «Истории», смог использовать открытия Карамзина. Еще не зная трудов французских историков, Пушкин, опираясь на национальную традицию, вырабатывает историзм на базе реализма как метод познания и объяснения прошлого и настоящего. Следуя за Карамзиным в раскрытии русского национального характера, он создает образ Пимена. Еще более

²⁸ Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина, ч. I, с. 206.

²⁹ Русская старина, 1890, № 9, с. 453.

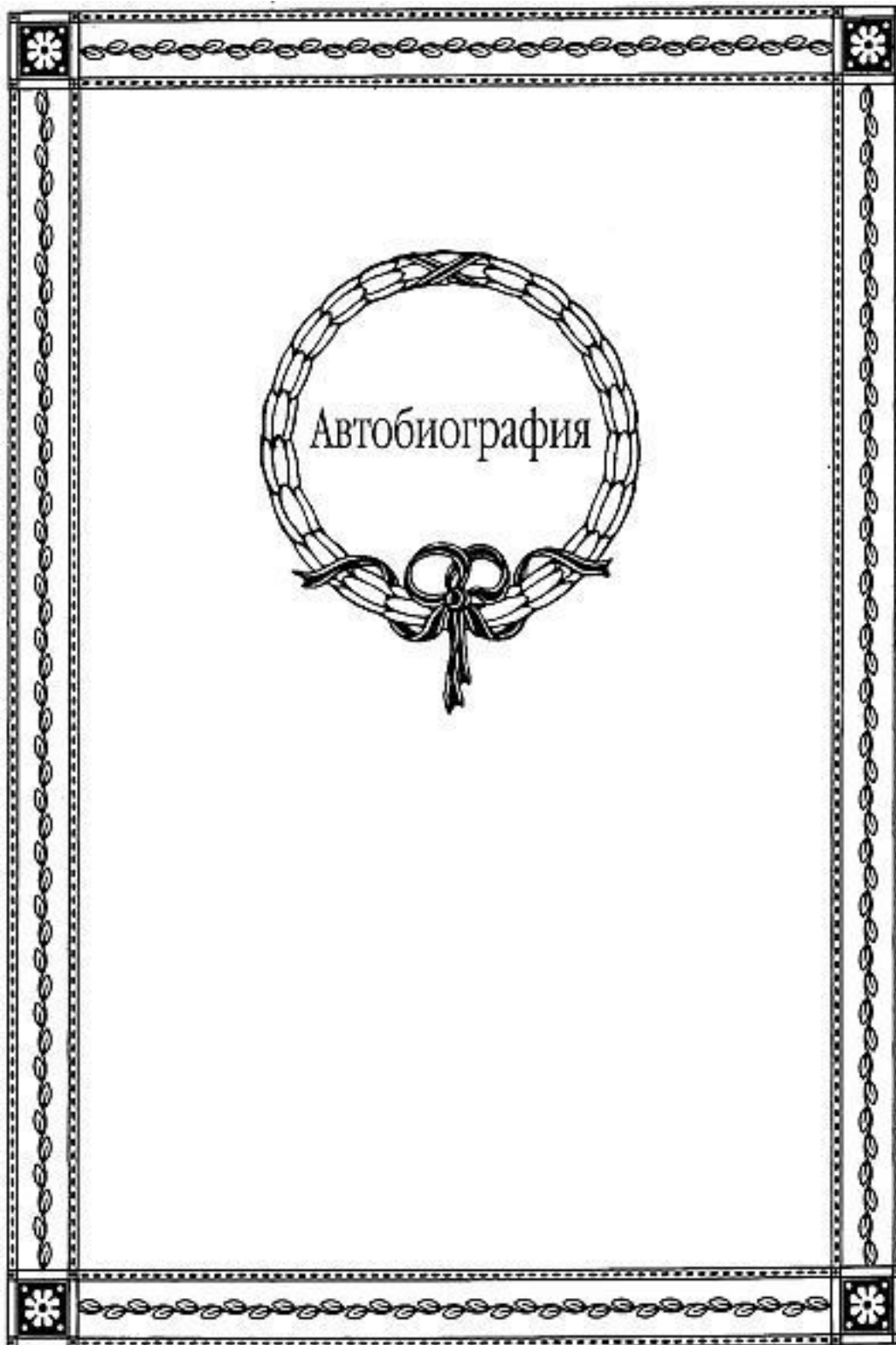
примечательно отношение Пушкина к открытой Карамзиным «истине» о характере отношений народа и самодержавия. Отбросив монархическую концепцию автора «Истории», отвергнув его апофеизм в пользу самодержавия, Пушкин увидел и понял как закономерность эмпирически установленный факт постоянных мятежей народа против князей и царей. Историзм помог Пушкину открыть другую, более важную истину – ненависть народа к самодержавию, враждебность народу этой формы правления, непримиримый их антагонизм. Оттого Пушкин и подчеркивал, что Карамзину он обязан «мыслию» своей «трагедии», что ему он следовал «в светлом развитии происшествий».

События французской революции и последующая реакция на них в известной мере обусловливали преемственную связь между периодом, когда началось формирование историзма в эпоху Просвещения, и его последующим развитием в 1820-е гг. Энгельс указывал, что именно в первые десятилетия XIX в. шел бурный процесс выработки новой философии истории. «... История человечества уже перестала казаться диким хаосом бессмысленных насилий... она, напротив, предстала как процесс развития самого человечества, и задача мышления свелась теперь к тому, чтобы проследить последовательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать внутреннюю закономерность среди всех кажущихся случайностей».³⁰ «История государства Российского» – частный пример процесса философского осмысления исторического прошлого на материале истории России.

Г. П. Макогоненко

³⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 20, с. 23.

Автобиография^[1]



Надворный советник Николай Михайлов сын Карамзин родился 1-го декабря 1766 года в Симбирской губернии; учился дома и, наконец, в пансионе у московского профессора Шадена, от которого ходил также и в разные классы Московского университета. Служил в гвардии.

Первыми трудами его в словесности были переводы, напечатанные в «Детском чтении». По возвращении своем из чужих краев издавал два года «Московский журнал», после – «Аглаю», «Аониды» и «Вестник Европы». Полные сочинения его напечатаны в восьми томах. Он перевел еще Мармонтелевы повести и многие мелкие сочинения, изданные под именем «Пантеон иностранной словесности». В 1803 году сделан российским историографом и с того времени занимается сочинением «Российской истории».

Повести



БЕДНАЯ ЛИЗА^[2]

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели – куда глаза глядят – по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си...нова³¹ монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного *амфитеатра*: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению деревьев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, – стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили, – печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах – с бледным лицом, с томным взором – смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит – и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет – и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества – печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря – воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженья в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

³¹ Си...нова... – Симонова монастыря.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего – ибо и крестьянки любить умеют! – день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, – которая осталась после отца пятнадцати лет, – одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь – ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды – и продавала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся сердцу, называла божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери. «Бог дал мне руки, чтобы работать, – говорила Лиза, – ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки». Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих – ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. – «На том свете, любезная Лиза, – отвечала горестная старушка, – на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть – что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю».

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы – и покраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» – спросил он с улыбкою. – «Продаю», – отвечала она. – «А что тебе надобно?» – «Пять копеек». – «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». – Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, – еще более покраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. – «Для чего же?» – «Мне не надобно лишнего». – «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня». – Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку. – «Куда же ты пойдешь, девушка?» – «Домой». – «А где дом твой?» – Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть, для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось. «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек...» – «Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос...» – «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образ и молю господу бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти». – У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. «Никто не владей вами!» – сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем. – На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочила и закричала: «Ах!..» Молодой незнакомец стоял под окном.

«Что с тобой сделалось?» – спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела. – «Ничего, матушка, – отвечала Лиза робким голосом, – я только его увидела». – «Кого?» – «Того господина, который купил у меня цветы». Старуха выглянула в окно. Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего. «Здравствуй, добрая старушка! – сказал он. – Я очень устал; нет ли у тебя свежего молока?» Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей – может быть, для того, что она его знала наперед, – побежала на погреб – принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, – схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил – и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами. Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении – осмерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности, и проч., и проч. Он слушал ее со вниманием, но глаза его были – нужно ли сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но не так скоро молния блеснит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. – «Мне хотелось бы, – сказал он матери, – чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам». – Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правую рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других. – Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти. «Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин?» – спросила старуха. – «Меня зовут Эрастом», – отвечал он. – «Эрастом, – сказала тихонько Лиза, – Эрастом!» Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. – Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: «Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!» Все Лизино сердце затрепетало. «Матушка! Матушка! Как этому стать? Он барин, а между крестьянами...» – Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои проводжали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. «Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям», – думал он и решился – по крайней мере на время – оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь – мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове природы. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напиться живо-

творными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. – Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, – и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: „Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей“. Он взглянул бы на меня с видом ласковым – взял бы, может быть, руку мою... Мечта!» Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом.

Вдруг Лиза услышала шум весел – взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке – Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе и – мечта ее отчасти исполнилась: ибо он *взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку...* А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем – не могла отнять у него руки – не могла отворотиться, когда он приблизился к ней с розовыми губами своими... Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящего! «Милая Лиза! – сказал Эраст. – Милая Лиза! Я люблю тебя», и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и... Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость – Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места, – смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: «Люби меня!», и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться. «Ах, Эраст! – сказала она. – Всегда ли ты будешь любить меня?» – «Всегда, милая Лиза, всегда!» – отвечал он. – «И ты можешь мне дать в этом клятву?» – «Могу, любезная Лиза, могу!» – «Нет! мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?» – «Нельзя, нельзя, милая Лиза!» – «Как я счастлива, и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!» – «Ах нет, Лиза! Ей не надобно ничего скачивать». – «Для чего же?» – «Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое». – «Нельзя статься». – «Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова». – «Хорошо: надобно тебя послушаться, хотя мне не хотелось бы ничего таить от нее». – Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видаться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видаться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. «Он меня любит!» – думала она и восхищалась сею мыслию. «Ах, матушка! – сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. – Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда солнце так светло не сияло, никогда цветы так приятно не пахли!» – Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно, в самом деле, показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю природу. «Ах, Лиза! – говорила она. – Как все хорошо у господина бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается.

Надобно, чтобы царь небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали». А Лиза думала: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!»

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (сажнях в осьмидесяти от хижины) – дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный. Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались – но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия.³² «Когда ты, – говорила Лиза Эрасту, – когда ты скажешь мне: „Люблю тебя, друг мой!“, когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме – Эраста. Чудно! Чудно, мой друг, что я, не зная тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен». – Эраст восхищался своей пастушкой – так называл Лизу – и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми *страстная дружба* невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. «Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, – думал он, – не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!» – Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее. «Я люблю ее, – говорила она, – и хочу ей добра, а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого». – Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в какой согласии жил с нею. «Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться – до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!» – Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели. «Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось?» – «Ах, Эраст! Я плакала!» – «О чем? Что такое?» – «Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла». – «И ты соглашаешься?» – «Жестокий! Можешь ли об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!» – Эраст целовал Лизу, говорил, что ее счастье дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю. – «Однако ж тебе нельзя быть моим

³² Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались – но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия. – Цинтия (рим. миф.) – одно из имен Артемиды. Артемида (греч. миф.) – дочь Зевса, сестра бога света Аполлона, вечно юная, прекрасная богиня Луны, благословляющая и дающая счастье в браке.

мужем!» – сказала Лиза с тихим вздохом. – «Почему же?» – «Я крестьянка». – «Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, – и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу».

Она бросилась в его объятия – и всечаснадлежало погибнуть непорочности! – Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей – никогда Лиза не казалась ему столь прелестною – никогда ласки ее не трогали его так сильно – никогда ее поцелуи не были столь пламенны – она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась – мрак вечера питал желания – ни одной звездочки не сияло на небе – никакой луч не мог осветить заблуждения. – Эраст чувствует в себе трепет – Лиза также, не зная отчего – не зная, что с нею делается... Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где – твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал – искал слов и не находил их. «Ах, я боюсь, – говорила Лиза, – боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, что душа моя... Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? Вздыхаешь?.. Боже мой! Что такое?» – Между тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся задрожала. «Эраст, Эраст! – сказала она. – Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!» Грозно шумела буря, дождь лился из черных облаков – казалось, что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности. – Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним. «Ах, Эраст! Уверь меня, что мы будем по-прежнему счастливы!» – «Будем, Лиза, будем!» – отвечал он. – «Дай бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем... Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся».

Свидания их продолжались; но как все переменялось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы – одними ее любви исполненными взорами – одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог, – а кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение *всех* желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспляял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог *гордиться* и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастье. Она видела в нем перемену и часто говорила ему: «Прежде бывал ты веселее, прежде бывали мы покойнее и счастливее, и прежде я не так боялась потерять любовь твою!» – Иногда, прощаясь с ней, он говорил ей: «Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться: мне встретилось важное дело», – и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец пять дней сряду она не видала его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицом и сказал ей: «Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход». – Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностью любви, спросила: «Тебе нельзя остаться?» – «Могу, – отвечал он, – но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества». – «Ах, когда так, – сказала Лиза, – то поезжай, поезжай, куда бог велит! Но тебя могут убить». – «Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза». – «Я умру, как скоро тебя не будет на свете». – «Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу». – «Дай бог! Дай бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем,

что с тобою случится, а я писала бы к тебе – о слезах своих!» – «Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала». – «Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! Расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое». – «Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся». – «Буду, буду думать об ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!»

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиной матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что *ласковый, пригожий барин* ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав: «Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне». – Старушка осыпала его благословениями. «Дай господи, – говорила она, – чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!» – Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!» Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала – Эраст плакал – оставил ее – она упала – стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся – далее – далее – и наконец скрылся – воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя – и свет показался ей уныл и печален. Все приятности природы сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. «Ах! – думала она. – Для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертью своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! Я лечу к тебе!» – Уже хотела она бежать за Эрастом, но мысль: «У меня есть мать!» – остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. – С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда – хотя весьма редко – златой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. «Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! Как все переменится!» – от сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. – Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретила ее великолепная карета, и в сей карете увидела она – Эраста. «Ах!» – закричала Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и повернула на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дому, как вдруг почувствовал себя – в Лизиных объятиях. Он побледнел – потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: «Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей – возьми их, – он положил ей деньги в карман, –

позволь мне поцеловать тебя в последний раз – и пооди домой». – Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора».

Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте – готов проклинать его – но язык мой не движется – смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную бль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? – Нет, он в самом деле был в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства – жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице и в таком положении, которого никакое перо описать не может. «Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!» – вот ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная открыла глаза – встала с помощью сей доброй женщины, – благодарила ее и пошла, сама не зная куда. «Мне нельзя жить, – думала Лиза, – нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!» – Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость – осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, – кликнула ее, вынула из кармана десять империялов и, подавая ей, сказала: «Любезная Анюта, любезная подружка! Отнеси эти деньги к матушке – они не краденые – скажи ей, что Лиза против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку, – к Э... На что знать его имя? – Скажи, что он изменил мне, – попроси, чтобы она меня простила, – бог будет ее помощником, – поцелуй у нее руку так, как я теперь твою целую, – скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, – скажи, что я...» Тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее, побежала в деревню – собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мертвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы там, в новой жизни, увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сию в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела – глаза навек закрылись. – Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза!»

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могилке. – Теперь, может быть, они уже примирились!

ОСТРОВ БОРНГОЛЬМ³³

Друзья! прошло красное лето, золотая осень побледнела, зелень увяла, деревья стоят без плодов и без листьев, туманное небо волнуется, как мрачное море, зимний пух сыплется на холодную землю – простимся с природою до радостного весеннего свидания, укроемся от вьюг и метелей – укроемся в тихом кабинете своем! Время не должно тяготить нас: мы знаем лекарство от скуки. Друзья! Дуб и береза пылают в камине нашем – пусть свирепствует ветер и засыпает окна белом снегом! Сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки и повести, и всякие были.

Вы знаете, что я странствовал в чужих землях, далеко, далеко от моего отечества, далеко от вас, любезных моему сердцу, видел много чудного, слышал много удивительного, многое вам рассказывал, но не мог рассказать всего, что случилось со мною. Слушайте – я повествую – повествую истину, не выдумку.

Англия была крайним пределом моего путешествия. Там сказал я самому себе: «Отечество и друзья ожидают тебя; время успокоиться в их объятиях, время посвятить страннический жезл твой сыну Ману,³⁴ время повесить его на густейшую ветвь того дерева, под которым играл ты в юных летах своих», – сказал и сел в Лондоне на корабль «Британию», чтобы плыть к любезным странам России.

Быстро катились мы на белых парусах вдоль цветущих берегов величественной Темзы. Уже беспредельное море засинелось перед нами, уже слышали мы шум его волнения – но вдруг переменился ветер, и корабль наш, в ожидании благоприятнейшего времени, должен был остановиться против местечка Гревзенда.

Вместе с капитаном вышел я на берег, гулял с покойным сердцем по зеленым лугам, украшенным природою и трудолюбием, – местам редким и живописным; наконец, утомленный жаром солнечным, лег на траву, под столетним вязом, близ морского берега, и смотрел на влажное пространство, на пенные валы, которые в бесчисленных рядах из мрачной отдаленности неслись к острову с глухим ревом. Сей унылый шум и вид необозримых вод начинали склонять меня к той дремоте, к тому сладостному бездействию души, в котором все идеи и все чувства останавливаются и цепенеют, подобно вдруг замерзающим ключевым струям, и которое есть самый разительнейший и самый пиитический образ смерти; но вдруг ветви потряслись над моею головою... Я взглянул и увидел – молодого человека, худого, бледного, томного, – более привидение, нежели человека. В одной руке держал он гитару, другою срывал листочки с дерева и смотрел на синее море неподвижными черными глазами своими, в которых сиял последний луч угасающей жизни. Взор мой не мог встретиться с его взором: чувства его были мертвы для внешних предметов; он стоял в двух шагах от меня, но не видал ничего, не слышал ничего. – «Несчастный молодой человек! – думал я. – Ты убит роком. Не знаю ни имени, ни рода твоего; но знаю, что ты несчастлив!»

Он вздохнул, поднял глаза к небу, опустил их опять на волны морские – отошел от дерева, сел на траву, заиграл на своей гитаре печальную прелюдию, смотря беспрестанно на море, и запел тихим голосом следующую песню (на датском языке, которому учил меня в Женеве приятель мой доктор NN)³⁵:

Законы осуждают

³³ Впервые – альманах «Аглая», 1794, ч. 1.

³⁴ Во время древности странники, возвращаясь в отечество, посвящали жезлы свои Меркурию.

³⁵ ...приятель мой доктор NN... – Речь идет о Готфриде Беккере, датском химике, который вместе с Карамзиным путешествовал по Швейцарии.

Предмет моей любви;
Но кто, о сердце! может
Противиться тебе?

Какой закон святее
Твоих врожденных чувств?
Какая власть сильнее
Любви и красоты?

Люблю – любить ввек буду.
Кляните страсть мою,
Безжалостные души,
Жестокие сердца!

Священная природа!
Твой нежный друг и сын
Невинен пред тобою.
Ты сердце мне дала;

Твои дары благие
Украсили ее —
Природа! Ты хотела,
Чтоб Лилу я любил!

Твой гром гремел над нами,
Но нас не поражал,
Когда мы наслаждались
В объятиях любви. —

О Борнгольм, милый Борнгольм!
К тебе душа моя
Стремится беспрестанно;
Но тщетно слезы лью,

Томлюся и вздыхаю!
Навек я удален
Родительскою клятвой
От берегов твоих!

Еще ли ты, о Лиля!
Живешь в тоске своей?
Или в волнах шумящих
Скончала злую жизнь?

Явися мне, явися,
Любезнейшая тень!
Я сам в волнах шумящих
С тобою погребусь.

Тут, по невольному внутреннему движению, хотел я броситься к незнакомцу и прижать его к сердцу своему, но капитан мой в самую сию минуту взял меня за руку и сказал, что благоприятный ветер развеивает наши парусы и что нам не должно терять времени. – Мы поплыли. Молодой человек, бросив гитару и сложив руки, смотрел вслед за нами – смотрел на синее море. —

Волны пенились под рулем корабля нашего, берег гревзэндский скрылся в отдалении, северные провинции Англии чернелись на другом краю горизонта – наконец все исчезло, и птицы, которые долго вились над нами, полетели назад к берегу, как будто бы устрешенные необозримостью моря. Волнение шумных вод и туманное небо остались единственным предметом глаз наших, предметом величественным и страшным. – Друзья мои! Чтобы живо чувствовать всю дерзость человеческого духа, надобно быть на открытом море, где *одна тонкая дощечка*, как говорит Виланд, *отделяет нас от влажной смерти*, но где искусный пловец, распуская парусы, летит и в мыслях своих видит уже блеск золота, которым в другой части мира наградится смелая его предприимчивость. «*Nil mortalibus arduum est*» – «Нет для смертных невозможного», – думал я с Горацием, теряясь взором в бесконечности Нептунова царства.

Но скоро жестокий припадок морской болезни лишил меня чувства. Шесть дней глаза мои не открывались, и томное сердце, орошаемое пеною бурных волн,³⁶ едва билось в груди моей. В седьмой день я ожил и хотя с бледным, но радостным лицом вышел на палубу. Солнце по чистому лазоревому своду катилось уже к западу, море, освещаемое златыми его лучами, шумело, корабль летел на всех парусах по грядкам рассекаемых валов, которые тщетно силились опередить его. Вокруг нас, в разном отдалении, развеивались белые, голубые и розовые флаги, а на правой стороне чернелось нечто подобное земле.

«Где мы?» – спросил я у капитана. – «Плавание наше благополучно, – сказал он, – мы прошли Зунд; берега Швеции скрылись от глаз наших. На правой стороне видите вы датский остров Борнгольм, место опасное для кораблей; там мели и камни таятся на дне морском. Когда наступит ночь, мы бросим якорь».

«Остров Борнгольм, остров Борнгольм!» – повторил я в мыслях, и образ молодого гревзэндского незнакомца оживился в душе моей. Печальные звуки и слова песни его отозвались в моем слухе. «Они заключают в себе тайну сердца его, – думал я, – но кто он? Какие законы осуждают любовь несчастного? Какая клятва удалила его от берегов Борнгольма, столь ему милого? Узнаю ли когда-нибудь его историю?»

Между тем сильный ветер нес нас прямо к острову. Уже открылись грозные скалы его, откуда с шумом и пеною свергались кипящие ручьи во глубину морскую. Он казался со всех сторон неприступным, со всех сторон огражденным рукою величественной природы; ничего, кроме страшного, не представлялось на седых утесах. С ужасом видел я там образ хладной, безмолвной вечности, образ неумолимой смерти и того неопisanного творческого могущества, перед которым все смертное трепетать должно.

Солнце погрузилось в волны – и мы бросили якорь. Ветер утих, и море едва-едва колебалось. Я смотрел на остров, который неизъяснимою силою влек меня к берегам своим; темное предчувствие говорило мне: «Там можешь удовлетворить своему любопытству, и Борнгольм останется навеки в твоей памяти!» – Наконец, узнав, что недалеко от берега есть рыбацьи хижины, решился я просить у капитана шлюпки и ехать на остров с двумя или тремя матрозами. Он говорил об опасности, о подводных камнях, но, видя непреклонность своего пассажира, согласился исполнить мое требование с тем условием, чтобы я на другой день рано поутру на корабль возвратился.

Мы поплыли и благополучно пристали к берегу в небольшом тихом заливе. Тут встретили нас рыбаки, люди грубые и дикие, выросшие на хладной стихии, под шум валов морских и

³⁶ В самом деле, пена волн часто орошала меня, лежащего почти без памяти на палубе.

незнакомые с улыбкою дружелюбного приветствия; впрочем, не хитрые и не злые люди. Услышав, что мы желаем посмотреть острова и ночевать в их хижинах, они привязали нашу лодку и повели нас, сквозь распавшуюся кремнистую гору, к своим жилищам. Через полчаса вышли мы на просторную зеленую равнину, где, подобно как на долинах альпийских, рассеяны были низенькие деревянные домики, рощицы и громады камней. Тут оставил я своих матрозов, а сам пошел далее, чтобы наслаждаться еще несколько времени приятностями вечера; мальчик лет тринадцати был проводником моим.

Алая заря не угасла еще на светлом небе, розовый свет ее сыпался на белые граниты и вдали, за высоким холмом, освещал острые башни древнего замка. Мальчик не мог сказать мне, кому принадлежал сей замок. «Мы туда не ходим, – говорил он, – и бог знает, что там делается!» – Я удвоил шаги свои и скоро приблизился к большому готическому зданию, окруженному глубоким рвом и высокою стеною. Везде царствовала тишина, вдали шумело море, последний луч вечернего света угасал на медных шпицах башен.

Я обошел вокруг замка – ворота были заперты, мосты подняты. Проводник мой боялся, сам не зная чего, и просил меня идти назад к хижинам, но мог ли любопытный человек уважить такую просьбу?

Наступила ночь, и вдруг раздался голос – эхо повторило его, и опять все умолкло. Мальчик от страха схватил меня обеими руками и дрожал, как преступник в час казни. Через минуту снова раздался голос – спрашивали: «Кто там?» – «Чужеземец, – сказал я, – приведенный любопытством на сей остров, и если гостеприимство почитается добродетелию в стенах вашего замка, то вы укроете странника на темное время ночи». – Ответа не было, но через несколько минут загремел и опустился с верху башни подъемный мост, с шумом отворились ворота – высокий человек, в длинном, черном платье, встретил меня, взял за руку и повел в замок. Я оборотился назад, но мальчик, провожатый мой, скрылся.

Ворота хлопнули за нами, мост загремел и поднялся. Через обширный двор, заросший кустарником, крапивою и полынью, пришли мы к огромному дому, в котором светился огонь. Высокий перистиль в древнем вкусе вел к железному крыльцу, которого ступени звучали под ногами нашими. Везде было мрачно и пусто. В первой зале, окруженной внутри готическою колоннадою, висела лампада и едва-едва изливала бледный свет на ряды позлащенных столов, которые от древности начинали разрушаться; в одном месте лежали части карниза, в другом отломки пиластров, в третьем целые упавшие колонны. Путеводитель мой несколько раз взглядывал на меня пронизательными глазами, но не говорил ни слова.

Все сие сделало в сердце моем странное впечатление, смешанное отчасти с ужасом, отчасти с тайным неизъяснимым удовольствием или, лучше сказать, с приятным ожиданием чего-то чрезвычайного.

Мы прошли еще через две или три залы, подобные первой и освещенные такими же лампадами. Потом отворилась дверь направо – в углу небольшой комнаты сидел почтенный седовласый старец, облокотившись на стол, где горели две белые восковые свечи. Он поднял голову, взглянул на меня с какою-то печальною ласкою, подал мне слабую свою руку и сказал тихим, приятным голосом:

«Хотя вечная горесть обитает в стенах здешнего замка, но странник, требующий гостеприимства, всегда найдет в нем мирное пристанище. Чужеземец! Я не знаю тебя, но ты человек – в умирающем сердце моем жива еще любовь к людям – мой дом, мои объятия тебе отверсты». – Он обнял, посадил меня и, стараясь развеселить мрачный вид свой, уподоблялся хотя ясному, но хладному осеннему дню, который напоминает более горестную зиму, нежели радостное лето. Ему хотелось быть приветливым – хотелось улыбкою вселить в меня доверенность; печали, углубившиеся на лице его, не могли исчезнуть в одну минуту.

«Ты должен, молодой человек, – сказал он, – ты должен известить меня о происшествиях света, мною оставленного, но еще не совсем забытого. Давно живу я в уединении, давно не

слышу ничего о судьбе людей. Скажи мне, царствует ли любовь на земном шаре? Курится ли фимиам на алтарях добродетели? Благоденствуют ли народы в странах, тобою виденных?» – «Свет наук, – отвечал я, – распространяется более и более, но еще струится на земле кровь человеческая – льются слезы несчастных – хвалят имя добродетели и спорят о существовании ее». – Старец вздохнул и пожал плечами.

Узнав, что я россиянин, сказал он: «Мы приходим от одного народа с вашим. Древние жители островов Рюгена и Борнгольма были славяне. Но вы прежде нас озарились светом христианства. Уже великолепные храмы, единому богу посвященные, возносились к облакам в странах ваших, но мы, во мраке идолопоклонства, приносили кровавые жертвы бесчувственным истуканам. Уже в торжественных гимнах славили вы великого творца вселенной, но мы, ослепленные заблуждением, хвалили в нестройных песнях идолов баснословия». – Старец говорил со мною об истории северных народов, о происшествии древности и новых времен, говорил так, что я должен был удивляться уму его, знаниям и даже красноречию.

Через полчаса он встал и пожелал мне доброй ночи. Слуга в черном платье, взяв со стола одну свечу, повел меня через длинные узкие переходы – имывошли в большую комнату, обвешанную древним оружием, мечами, копьями, латами и шишаками. В углу, под золотым балдахином, стояла высокая кровать, украшенная резьбой и древними барельефами.

Мне хотелось предложить множество вопросов сему человеку, но он, не дожидаясь их, поклонился и ушел; железная дверь хлопнула – звук страшно раздался в пустых стенах – и все утихло. Я лег на постелью – смотрел на древнее оружие, освещаемое сквозь маленькое окно слабым лучом месяца, – думал о своем хозяине, о первых словах его: «Здесь обитает вечная горесть», – мечтал о временах прошедших, о тех приключениях, которым сей древний замок бывал свидетелем, – мечтал, подобно такому человеку, который между гробов и могил взирает на прах умерших и оживляет его в своем воображении. – Наконец образ печального гревзэндского незнакомца представился душе моей, и я заснул.

Но сон мой не был покоен. Мне казалось, что все латы, висевшие на стене, превратились в рыцарей, что сии рыцари приближались ко мне с обнаженными мечами и с гневным лицом говорили: «Несчастный! Как дерзнул ты пристать к нашему острову? Разве не бледнеют плаватели при виде гранитных берегов его? Как дерзнул ты войти в страшное святилище замка? Разве ужас его не гремит во всех окрестностях? Разве странник не удаляется от грозных его башен? Дерзкий! Умри за сие пагубное любопытство!» – Мечи застучали надо мною, удары сыпались на грудь мою, – но вдруг все скрылось, – я пробудился и через минуту опять заснул. Тут новая мечта возмутила дух мой. Мне казалось, что страшный гром раздавался в замке, железные двери стучали, окна тряслись, пол колебался, и ужасное крылатое чудовище, которое описать не умею, с ревом и свистом летело к моей постели. Сновидение исчезло, но я не мог уже спать, чувствовал нужду в свежем воздухе, приблизился к окну, увидел подле него маленькую дверь, отворил ее и по крутой лестнице сошел в сад.

Ночь была ясная, свет полной луны осребрял темную зелень на древних дубах и вязах, которые составляли густую, длинную аллею. Шум морских волн соединялся с шумом листьев, потрясываемых ветром. Вдали белелись каменные горы, которые, подобно зубчатой стене, окружают остров Борнгольм; между ими и стенами замка виден был с одной стороны большой лес, а с другой – открытая равнина и маленькие рощицы.

Сердце все еще билось у меня от страшных сновидений, и кровь моя не переставала волноваться. Я вступил в темную аллею, под кров шумящих дубов и с некоторым благоговением углублялся во мрак ее. Мысль о друидах возбудилась в душе моей – и мне казалось, что я приближаюсь к тому святилищу, где хранятся все таинства и все ужасы их богослужения. Наконец сия длинная аллея привела меня к розмаринным кустам, за которыми возвышался песчаный холм. Мне хотелось взойти на вершину его, чтобы оттуда при свете ясной луны взглянуть на картину моря и острова, но тут представилось глазам моим отверстие во внутренность холма; человек

с трудом мог войти в него. Непреодолимое любопытство влекло меня в сию пещеру, которая походила более на дело рук человеческих, нежели на произведение дикой природы. Я вошел – почувствовал сырость и холод, но решился идти далее и, сделав шагов десять вперед, рассмотрел несколько ступеней вниз и широкую железную дверь; она, к моему удивлению, была не заперта. Как будто бы невольным образом рука моя отворила ее – тут, за железною решеткою, на которой висел большой замок, горела лампада, привязанная ко своду, а в углу, на соломенной постеле, лежала молодая бледная женщина в черном платье. Она спала; русые волосы, с которыми переплелись желтые соломинки, закрывали высокую грудь ее, едва-едва дышащую; одна рука, белая, но иссохшая, лежала на земле, а на другой покоилась голова спящей. Если бы живописец хотел изобразить томную, бесконечную, всегдашнюю скорбь, осыпанную маковыми цветами Морфея, то сия женщина могла бы служить прекрасным образцом для кисти его.

Друзья мои! Кого не трогает вид несчастного! Но вид молодой женщины, страдающей в подземной темнице, – вид слабейшего и любезнейшего из всех существ, угнетенного судьбою, – мог бы влить чувство в самый камень. Я смотрел на нее с горестию и думал сам в себе: «Какая варварская рука лишила тебя дневного света? Неужели за какое-нибудь тяжкое преступление? Но миловидное лицо твое, но тихое движение груди твоей, но собственное сердце мое уверяют меня в твоей невинности!»

В самую сию минуту она проснулась – взглянула на решетку – увидела меня – изумилась – подняла голову – встала – приблизилась, – потупила глаза в землю, как будто бы собираясь с мыслями, – снова устремила их на меня, хотела говорить и – не начинала.

«Если чувствительность странника, – сказал я через несколько минут молчания, – рукою судьбы приведенного в здешний замок и в эту пещеру, может облегчить твою участь, если искреннее его сострадание заслуживает твою доверенность, требуй его помощи!» – Она смотрела на меня неподвижными глазами, в которых видно было удивление, некоторое любопытство, нерешимость и сомнение. Наконец, после сильного внутреннего движения, которое как будто бы электрическим ударом потрясло грудь ее, отвечала твердым голосом: «Кто бы ты ни был, каким бы случаем ни зашел сюда, – чужеземец, я не могу требовать от тебя ничего, кроме сожаления. Не в твоих силах переменить долю мою. Я лобызая руку, которая меня наказывает». – «Но сердце твое невинно? – сказал я, – оно, конечно, не заслуживает такого жестокого наказания?» – «Сердце мое, – отвечала она, – могло быть в заблуждении. Бог простит слабую. Надеюсь, что жизнь моя скоро кончится. Оставь меня, незнакомец!» – Тут приблизилась она к решетке, взглянула на меня с ласкою и тихим голосом повторила: «Ради бога, оставь меня!.. Если он сам послал тебя – тот, которого страшное проклятие гремит всегда в моем слухе, – скажи ему, что я страдаю, страдаю день и ночь, что сердце мое высохло от горести, что слезы не облегчают уже тоски моей. Скажи, что я без ропота, без жалоб сношу заключение, что я умру его нежною, несчастною...» – Она вдруг замолчала, задумалась, удалилась от решетки, стала на колени и закрыла руками лицо свое, через минуту посмотрела на меня, снова потупила глаза в землю и сказала с нежною робостию: «Ты, может быть, знаешь мою историю, но если не знаешь, то не спрашивай меня – ради бога, не спрашивай!.. Чужеземец, прости!» – Я хотел идти, сказав ей несколько слов, излившихся прямо из души моей, но взор мой еще встретился с ее взором – и мне показалось, что она хочет узнать от меня нечто важное для своего сердца. Я остановился – ждал вопроса, но он, после глубокого вздоха, умер на бледных устах ее. Мы расстались.

Вышедши из пещеры, не хотел я затворить железной двери, чтобы свежий, чистый воздух сквозь решетку проник в темницу и облегчил дыхание несчастной. Заря алела на небе, птички пробудились, ветерок свевал росу с кустов и цветочков, которые росли вокруг песчаного холма. – «Боже мой! – думал я. – Боже мой! Как горестно быть исключенным из общества живых, вольных, радостных тварей, которыми везде населены необозримые пространства природы! В самом севере, среди высоких мшистых скал, ужасных для взора, творение руки твоей

прекрасно – творение руки твоей восхищает дух и сердце. И здесь, где пенные волны от начала мира сражаются с гранитными утесами, – и здесь десница твоя напечатлела живые знаки творческой любви и благодати, и здесь в час утра розы цветут на лазоревом небе, и здесь нежные зефиры дышат ароматами, и здесь зеленые ковры расстилаются, как мягкий бархат, под ногами человека, и здесь поют птички – поют весело для веселого, печально для печального, приятно для всякого, и здесь скорбящее сердце в объятиях чувствительной природы может облегчиться от бремени своих горестей! Но – бедная, заключенная в темнице, не имеет сего утешения: роса утренняя не окропляет ее томного сердца, ветерок не освежает истлевшей груди, лучи солнечные не озаряют помраченных глаз ее, тихие бальзамические излияния луны не питают души ее кроткими сновидениями и приятными мечтами. Творец! Почто даровал ты людям гибельную власть делать несчастными друг друга и самих себя?» – Силы мои ослабели, и глаза закрылись, под ветвями высокого дуба, на мягкой зелени.

Сон мой продолжался около двух часов.

«Дверь была отворена; чужестранец входил в пещеру» – вот что услышал я, проснувшись, – открыл глаза и увидел старца, хозяина своего; он сидел в задумчивости на дерновой лавке, шагах в пяти от меня; подле него стоял тот человек, который ввел меня в замок. Я подошел к ним. Старец взглянул на меня с некоторою суровостью, встал, пожал мою руку – и вид его сделался ласковее. Мы вошли вместе в густую аллею, не говоря ни слова. Казалось, что он в душе своей колебался и был в нерешимости, но вдруг остановился и, устремив на меня пронизательный, огненный взор, спросил твердым голосом: «Ты видел ее?» – «Видел, – отвечал я, – видел, не узнав, кто она и за что она страдает в темнице». – «Узнаешь, – сказал он, – узнаешь, молодой человек, и сердце твое обольется кровию. Тогда спросишь у самого себя: за что небо излило всю чашу гнева своего на сего слабого, седого старца, старца, который любил добродетель, который чтит святыя законы его?» – Мы сели под деревом, и старец рассказал мне ужаснейшую историю – историю, которой вы теперь не услышите, друзья мои; она остается до другого времени. На сей раз скажу вам одно то, что я узнал тайну гревзендского незнакомца – тайну страшную! —

Матрозы дожидались меня у ворот замка. Мы возвратились на корабль, подняли парусы, и Борнгольм скрылся от глаз наших.

Море шумело. В горестной задумчивости стоял я на палубе, взявшись рукою за мачту. Вздохи теснили грудь мою – наконец я взглянул на небо – и ветер свеял в море слезу мою.

СИЕРРА-МОРЕНА³⁷

В цветущей Андалузии – там, где шумят гордые пальмы, где благоухают миртовые рощи, где величественный Гвадальквивир катит медленно свои воды, где возвышается розмарином увенчанная Сиерра-Морена,³⁸ – там увидел я прекрасную, когда она в унынии, в горести стояла подле Алонзова памятника, опершись на него лилейною рукою своею; луч утреннего солнца позлащал белую урну и возвышал трогательные прелести нежной Эльвиры; ее русые волосы, рассыпаясь по плечам, падали на черный мрамор.

Эльвира любила юного Алонза, Алонзо любил Эльвиру и скоро надеялся быть супругом ее, но корабль, на котором плыл он из Майорки (где жил отец его), погиб в волнах моря. Сия ужасная весть сразила Эльвиру. Жизнь ее была в опасности... Наконец отчаяние превратилось в тихую скорбь и томность. Она соорудила мраморный памятник любимцу души своей и каждый день орошала его жаркими слезами.

Я смешал слезы мои с ее слезами. Она увидела в глазах моих изображение своей горести, в чувствах сердца моего узнала собственные свои чувства и назвала меня другом. Другом!.. Как сладостно было имя сие в устах любезной! – Я в первый раз поцеловал тогда руку ее.

Эльвира говорила мне о своем незабвенном Алонзе, описывала красоту души его, свою любовь, свои восторги, свое блаженство, потом отчаяние, тоску, горечь и, наконец, – утешение, отраду, находимую сердцем ее в милом дружестве. Тут взор Эльвирина блистал светлее, розы на лице ее оживлялись и пылали, рука ее с горячностью пожимала мою руку.

Увы! В груди моей свирепствовало пламя любви: сердце мое стгорало от чувств своих, кровь кипела – и мне надлежало таить страсть свою!

Я таил оную, таил долго. Язык мой не дерзал именовать того, что питала в себе душа моя: ибо Эльвира клялась не любить никого, кроме своего Алонза, клялась не любить в другой раз. Ужасная клятва! Она заграждала уста мои.

Мы были неразлучны, гуляли вместе на зланных берегах величественного Гвадальквивира, сидели над журчащими его водами, подле горестного Алонзова памятника, в тишине и безмолвии; одни сердца наши говорили. Взор Эльвирина, встречаясь с моим, опускался к земле или обращался на небо. Два вздоха вылетали, соединялись и, мешаясь с зефиром, исчезали в пространствах воздуха. Жар дружеских моих объятий возбуждал иногда трепет в нежной Эльвириной груди – быстрый огонь разливался по лицу прекрасной – я чувствовал скорое биение пульса ее – чувствовал, как она хотела успокоиться, хотела удержать стремление крови своей, хотела говорить... Но слова на устах замирали. – Я мучился и наслаждался.

Часто темная ночь застигала нас в отдаленном уединении. Звучное эхо повторяло шум водопадов, который раздавался между высоких утесов Сиерры-Морены, в ее глубоких расщелинах и долинах. Сильные ветры волновали и крутили воздух, багряные молнии вились на черном небе или бледная луна над седыми облаками восходила. – Эльвира любила ужасы природы: они возвеличивали, восхищали, питали ее душу.

Я был с нею!.. И радовался стгущению ночных мраков. Они сближали сердца наши, они скрывали Эльвиру от всей природы – и я тем живее, тем нераздельнее наслаждался ее присутствием.

Ах! Можно сражаться с сердцем долго и упорно, но кто победит его? – Бурное стремление яростных вод разрывает все оплоты, и каменные горы распадаются от силы огненного вещества, в их недрах заключенного.

³⁷ Впервые – альманах «Аглая», 1795, ч. 2. Под заглавием «Элегический отрывок из бумаг N» указана дата написания – 1793. В последующих публикациях это заглавие было снято.

³⁸ То есть Черная гора.

Сила чувств моих все преодолела, и долго таимая страсть излилась в нежном признании! Я стоял на коленях, и слезы мои текли рекою. Эльвира бледнела – и снова уподоблялась розе. Знаки страха, сомнения, скорби, нежной томности менялись на лице ее!..

Она подала мне руку с умильным взором. «Жестокий! – сказала Эльвира – но сладкий голос ее смягчил всю жестокость сего упрека. – Жестокий! Ты недоволен кроткими чувствами дружбы, ты принуждаешь меня нарушить обет священный и торжественный!.. Пусть же громы небесные поразят клятвopеступницу!.. Я люблю тебя!..» – Огненные поцелуи мои запечатали уста ее.

Боже мой!.. Сия минута была счастливейшею в моей жизни!

Эльвира пошла к Алонзову памятнику, стала перед ним на колени и, обнимая белую урну, сказала трогательным голосом: «Тень любезного Алонза! Простишь ли свою Эльвиру?.. Я клялась вечно любить тебя и вечно любить не перестану, образ твой сохранится в моем сердце, всякий день буду украшать цветами твой памятник, слезы мои будут всегда мешаться с утреннею и вечернею рососою на сем хладном мраморе! – Но я клялась еще не любить никого, кроме тебя... и люблю!.. Увы! Я надеялась на сердце свое и поздно увидела опасность. Оно тосковало – было одно в пространным мире – искало утешения, – дружба явилась ему в венце невинности и добродетели... Ах!.. Любезная тень! простишь ли свою Эльвиру?»

Любовь моя была красноречива: я успокоил милую, и все облака исчезли в ангельских очах ее.

Эльвира назначила день для нашего вечногo соединения, предалась нежным чувствам своим, и я наслаждался небом! – Но гром собирался над нами... Рука моя трепещет!

Все радовалось в Эльвирином замке, все готовилось к брачному торжеству. Ее родственники любили меня – Андалузия долженствовала быть вторым моим отечеством!

Уже розы и лилии на олтаре благоухали, и я приблизился к оному с прелестною Эльвирою, с восторгом в душе, с сладким трепетом в сердце, уже священник готовился утвердить союз наш своим благословением – как вдруг явился незнакомец, в черной одежде, с бледным лицом, с мрачным видом: кинжал блистал в руке его. «Вероломная! – сказал он Эльвире. – Ты клялась быть вечно моею и забыла свою клятву! Я клялся любить тебя до гроба: умираю... и люблю!..»

Уже кровь лилась из его сердца, он вонзил кинжал в грудь свою и пал мертвый на помост храма.

Эльвира, как громом пораженная, в иступлении, в ужасе воскликнула: «Алонзо! Алонзо!..» – и лишилась памяти. – Все стояли неподвижно. Внезапность страшного явления изумила присутствующих.

Сей бледный незнакомец, сей грозный самоубийца был Алонзо. Корабль, на котором он плыл из Майорки, погиб, но алжирцы извлекли юношу из волн, чтобы оковать его цепями тяжелой неволи. Через год он получил свободу – летел к предмету любви своей, – услышал о замужестве Эльвирином и решился наказать ее... своею смертию.

Я вынес Эльвиру из храма. Она пришла в себя, – но пламя любви навек угасло в очах и сердце ее. «Небо страшно наказало клятвopеступницу, – сказала мне Эльвира, – я убийца Алонзова! Кровь его палит меня. Удались от несчастной! Земля расступилась между нами, и тщетно будешь простирать ко мне руки свои! Бездна разделила нас навеки. Можешь только взорами своими растревлять неизлечимую рану моего сердца. Удались от несчастной!»

Моя горесть, мое отчаяние не могли тронуть ее – Эльвира погребла несчастного Алонза на том месте, где оплакивала некогда мнимую смерть его, и заключилась в строжайшем из женских монастырей. Увы! Она не хотела проститься со мною!.. Не хотела, чтобы я в последний раз обнял ее со всею горячностью любви и видел в глазах ее хотя одно сожаление о моей участи!

Я был в исступлении – искал в себе чувствительного сердца, но сердце, подобно камню, лежало в груди моей – искал слез и не находил их – мертвое, страшное уединение окружало меня.

День и ночь слились для глаз моих в вечный сумрак. Долго не знал я ни сна, ни отдохновения, скитался по тем местам, где бывал вместе – с жестокою и несчастною; хотел найти следы, остатки, части *моей* Эльвиры, впечатления души ее... Но холод и тьма везде меня встречали!

Иногда приближался я к уединенным стенам того монастыря, где заключилась неумолимая Эльвира: там грозные башни возвышались, железные запоры на вратах чернелись, вечное безмолвие обитало, и какой-то унылый голос вещал мне: «Для тебя уже нет Эльвиры!»

Наконец я удалился от Сиерры-Морены – оставил Андалузию, Гишпанию, Европу – видел печальные остатки древней Пальмиры, некогда славной и великолепной, – итам, опершись на развалины, внимал глубокой, красноречивой тишине, царствующей в сем запустении и одними громами прерываемой. Там, в объятиях меланхолии, сердце мое размягчилось – там слеза моя оросила сухое тление – там, помышляя о жизни и смерти народов, живо восчувствовал я суету всего подлунного и сказал самому себе: «Что есть жизнь человеческая? Что бытие наше? Один миг, и все исчезнет! Улыбка счастья и слезы бедствия покроются единою горстию черной земли!» – Сии мысли чудесным образом успокоили мою душу.

Я возвратился в Европу и был некоторое время игралищем злобы людей, некогда мною любимых; хотел еще видеть Андалузию, Сиерру-Морену и узнал, что Эльвира переселилась уже в обители небесные; пролил слезы на ее могиле и обтер их навеки.

Хладный мир! Я тебя оставил! – Безумные существа, человеками именуемые! Я вас оставил! Свирепствуйте в лютых своих исступлениях, терзайте, умерщвляйте друг друга! Сердце мое для вас мертво, и судьба ваша его не трогает.

Живу теперь в стране печального севера, где глаза мои в первый раз озарились лучом солнечным, где величественная натура из недр бесчувствия приняла меня в свои объятия и включила в систему *эфемерного бытия*, – живу в уединении и внимаю бурям.

Тихая ночь – вечный покой – святое безмолвие! К вам, к вам простираю мои объятия!

Комментарии

1.

Написана Карамзиным в 1805 или 1806 г. для словаря с российских писателях, который готовил Евгений Болховитинов.

2.

Впервые – «Московский журнал», 1792, июнь.